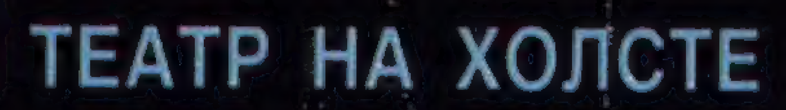
ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА № 4 ЯНВАРЬ 1988



ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ ПУТИ

РАССКАЗ ВЛАДИМИРА ПОМЕРАНЦЕВА



ТЕАТР НА ХОЛСТЕ



ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ МЕТЕЛИЦА МЕТЁТ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!





ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан 1 апреля 1923 года

№ 4 (3157)

23—30 ЯНВАРЯ

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:
Фотоэтюд Анатолия БОЧИНИНА.

Оформление Н. П. КАЛУГИНА
при участии Т. А. НОВРУЗОВОЙ

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА
Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп., на полгода — 10 руб. 38 коп., на квартал — 5 руб. 19 коп.

Телефоны редакции: Секретариат — 212-23-27; Отделы: Публицистики — 212-21-88; Международный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69; Искусства — 212-15-39; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Оформления — 212-15-77; Литературных приложений — 212-22-13.

Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Сдано в набор 04.01.88. Подписано к печати 19.01.88. А 10307. Формат 70 × 108⅛. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Усл. кр.-отт. 16,80. Тираж 1 770 000 экз. Заказ № 1784.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.

ДВА МЕШК

ПЛОХО ЛИ, ХОРОШО ЛИ ЧТО ЛЕЖИТ — «НЕСУНУ» ВСЕ ПО СИЛАМ.
ПО КАПЛЕ, ПО КРОШКЕ, ПО ЩЕПОТКЕ РАСТАЩИТ.
А ПОСЧИТАТЬ — УЩЕРБ ОТ «СУМЧАТЫХ»
НА МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ
ВЫХОДИТ.





А ПОРОШКА

Эдуард ЭТТИНГЕР,
фото автора

***— А** еще был такой случай. На мясокомбинате надели на тушу свиньи шляпу, макинтош и посадили в машину рядом с водителем. Думали, не заметят, вроде бы человек. Но не тут-то было...*

Я — в Управлении вневедомственной охраны Молдавской ССР, сижу и слушаю рассказы из милицейской жизни; жду звонка. Сюда должны сообщить, если что случится за время моего «дежурства». Помочь «Огоньку» подготовить репортаж о «несунах» любезно согласились начальник управления подполковник А. Е. Бобок и капитан Ю. Ф. Гулла. Телефон молчит, они меня и развлекают. Сколько историй на их памяти!

Перед тем как прийти на «дежурство», я побывал на приеме у министра внутренних дел республики генерал-майора Георгия Ивановича Лавранчука. Он рассказал, что за последние два года число хищений государственной собственности сократилось на 20,2 процента и что силами

ЭТУ МАШИНУ УГНАЛИ, НО КАТАЛИСЬ НА НЕЙ НЕДОЛГО. СТАРШИНА АЛЕКСАНДР БУРЧУ ЗАДЕРЖАЛ БЕГЛЕЦОВ НА ХОДУ.

ГРАЖДАНИН Н. В. ОЖЕГОВ НЕ СТЕСНЯЕТСЯ. ОН УДРУЧЕН ЛИШЬ ТЕМ, ЧТО НЕ УДАЛОСЬ СКРЫТЬСЯ...

А ТЕПЕРЬ ПОСМОТРИМ, ЧТО В МЕШКАХ. НА ВТОРОМ ПЛАНЕ — СЕРЖАНТ ВИКТОР ПЛАЧИНТА И НАШ «ГЕРОЙ» ВАСИЛИЙ РОШКА.





милиции сейчас раскрывается 99,1 процента всех преступлений в Молдавии, а те, что раскрыты с участием населения, составляют меньше процента. А надо бы наоборот. Надо создать повсюду атмосферу нетерпимости к разного рода нарушениям.

— Действительно, часто приходится бывать на предприятиях,— говорит капитан Юрий Федорович Гулла.— Всякий раз удивляюсь тому, что люди, преступившие закон, порой уверены в своей безнаказанности. Из-за равнодушия окружающих.

...И тут раздался телефонный звонок.

— Да! Сейчас приедем.

— Ну?

— С завода бытовой химии пытались вынести два запечатанных мешка.

Садимся в машину. Едем.

В проходной завода нас встречает сержант Григорий Демчук. Это он увидел, как через забор сначала выкинули один мешок, потом второй. Затем появился и сам «герой». Им оказался водитель электропогрузчика Василий Рошка.

Заходим в бытовку. В присутствии понятых сержант Виктор Плачинта изучает содержимое мешков. В обоих — стиральный порошок.

— Зачем столько? — невольно вырывается у одного из нас.

Собственно, вопрос неправомерен, потому что вообще нельзя красть. «Несуны» наносят огромный ущерб даже тогда, когда выносят по крохам.

Возвращаемся в управление. В наше отсутствие звонили из Рыбницы. Там ограбили ювелирный магазин. Это за сто километров от Кишинева. Опасные преступники пойманы, ювелирные изделия на 86 тысяч рублей возвращены государству.

Невольно подумалось, что, конечно, не каждый «несун» станет непременно грабителем, но почти каждый из них начинал с малого.

*ПОДПОЛКОВНИК А. М. СКУРТУЛ
И КАПИТАН Н. Р. ПАШКО:
— ЭТО ЗОЛОТО
МЫ ОБНАРУЖИЛИ
ЧЕРЕЗ ДВОЕ СУТОК ПОСЛЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ...*

СУРОВА ПРОЖ

В пустом холле местной гостиницы в поздний час, когда телевизор «добивал» последнюю вечернюю программу, пожилая дежурная в теплой кофте расспрашивала меня, радуясь неожиданному собеседнику:

— Ты откуда, милок, будешь, коль не секрет?

— Из Москвы,— отвечал я.

— А к кому приехал, опять же если не секрет?

— К Валентине Ивановне Гагановой, слыхали про такую?

— Слыхала. А зачем приехал? — наседала дотошная женщина.

— Да вот хочу написать о ней, как нынче живет, как трудится...

— Эка ты, батюшка, опоздал,— неожиданно заметила моя собеседница.— Лет тридцать назад было бы в самый раз. А так опоздал...

И вот сижу с Валентиной Ивановной Гагановой. Она полна впечатлениями, только что вернулась с торжественного заседания в Кремле, посвященного 70-летию Великого Октября, рассказывает, волнуясь, и вдруг простодушно:«Вы знаете, с годами полюбила тряпки, хочется нарядно одеваться. Поверите, иной раз, когда никого нет дома, открываю шкаф и начинаю разговаривать с одеждой: милое, милое платьице, сколько годков вместе отшагали, сколько радостей и горестей поделили. Конечно, есть что сейчас надеть — грех жаловаться, но то первое черное платье — самое любимое, в нем впервые в Москву на партийный съезд поехала, в нем маму хоронила. Старенькое оно стало, но все равно нарядное. Я то вставочку сделаю, то воротничок кружевной подошью, глядишь, кто-то из подруг завидует: опять, Валя, в обновке щеголяешь».

Милое, милое платьице, милая Валентина Ивановна, как вы-то сами жили все эти годы — чему радовались, о чем вспоминали, на что надеялись? Как сложилась ваша судьба — судьба человека, имя которого повторяла когда-то вся страна?

С годами становимся мудрее, но беспокойнее, налетает грусть, мучает ностальгия по юности, колет сердце пронзительная игла воспоминаний. Иногда память, словно волшебный нектар, который хочется пить, наивно полагая, будто он сможет вернуть пышную, без единого седого волоса шевелюру, или упругость мышц на ногах, выписывающих дриблинги на футбольных задворках старых московских школ, или влажный блеск глаз одноклассниц, которые еще не знали, что такое мини-юбки, но тоже не были безгрешны, стыдливо пряча среди разложенных на парте учебников по математике томики Стендаля и Мопассана — у каждого поколения свои трения с моралью. Закрыть бы глаза и оказаться на минуту в одном из шумных дворов конца 50-х, где-нибудь на Ордынке или Плющихе, у еще не снесенных двухэтажных домов с ситцевыми занавесками и пыльной геранью на подоконниках, где до позднего вечера танцевали под «Кукарачу» и «Брызги шампанского», где по-особому смеялись, ссорились, плакали, где признавался кому-то в любви щемящий тенор трофейного аккордеона и пели радиолы неокрепшими голосами Кобзона и Кристалинской, рассказывали о том, что и у нас во дворе есть девчонка одна, дворы, откуда уходили надолго и куда возвращались...

Иногда кажется, что живем в странном ощущении каких-то очень дорогих потерь.

Почему-то часто вспоминаются ночные пролеты большого московского завода, здесь я — фрезеровщик, после десятилетки, перед глазами стонущий на станках металл, сползающая со станин раскаленная стружка, терпкое зловоние эмульсии и горячего машинного масла вперемежку с острым чесночным запахом вареной колбасы и черного хлеба в обеденную десятиминутку. Как самозабвенно трудились мы тогда, с каким упоением, энергией, избыточным мускульным азартом, подаренным молодостью. Ночь пролетала, как короткий миг, и каждый невольно подпадал под очарование ее скоротечности, время бежало с непостижимой быстротой, рассветная синева, разливающаяся над стеклянной крышей цехов, была не благодарением, скорее вызывала досаду — так трудно было вырываться из темпа бешеной ночной смены.

Работали люди, познавшие на личном опыте, что такое нужда. Потому что пришедшая на смену суровому, голодному и неустроенному послевоенному лихолетью эпоха относительной экономической стабилизации позволила заработать реальный рубль, получить на него скромные и непритязательные по нынешним понятиям, но реальные блага. Тогда мало

Я НЕЖНОСТЬ ИТЫХ ЛЕТ

ИЗ ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОСТИ

Александр БОЛОТИН, специальный корреспондент «Огонька»

задумывались о техническом прогрессе, но зато знали цену рабочей минуте. Не вкусившие еще гнилой плод приобретенного позже синдрома привычного получения зарплаты за привычное «ничегонеделание» люди выкладывались как могли, честно и беззаветно, и каждая смена была им в радость... В те годы «выкладывалась» вся страна.

Имя Гагановой из той, по-своему прекрасной поры. Сколько лет прошло с октябрьского дня 1958 года, когда местный рабкор Витя Уточкин помчался на почту отправить в областную молодежную газету заметку в сорок строк, озаглавленную «Это по-комсомольски». Парня не случайно постигло вдохновение — только что он видел на столе в парткоме заявление, написанное прерывистым почерком на листке из блокнота: «Прошу перевести меня в отстающую бригаду, обязуюсь довести ее до уровня передовой». Листок тот хранится в Музее революции СССР, а ушедший на пенсию инженер отдела научно-технической информации Виктор Алексеевич Уточкин с гордостью рассказывает мне, что примчавшиеся через несколько дней в Вышний Волочек газетчики, радиожурналисты и фотокорреспонденты из Москвы называли его самым счастливым рабкором страны — «шутка ли сказать, первым о Гагановой написал».

А Вышний Волочек все такой же по-купечески приземистый, и так же дымят трубы текстильного городка, который отгрохал когда-то, не жалея денег, на берегу Цны русский фабрикант Павел Михайлович Рябушинский. И так же высится в центре построенное на манер английских мануфактур красивейшее здание прядильной фабрики — строгий темно-красный кирпич, высокие прямоугольные окна с белыми наличниками. И внутри все крепко, основательно, на века... Вот из этих вечно грохочущих пролетов однажды простучала каблучками по ступеням тяжелой металлической лестницы, вышла на крыльцо главного входа, поправила косынку и понеслась по стране слава Вали Гагановой.

Валентину Ивановну Гаганову, какой я вижу ее сейчас, одним штрихом не опишешь. Вот идет она по городу уверенной, я бы добавил, начальственной походкой заслуженного именитого человека, и вдруг, совсем по-девичьи, бросается в объятия какой-то подружки-ровесницы, громко заливаясь смехом, и тотчас тает ее степенность, как преждевременно выпавший снег в ноябре, и, глядя в ее молодые, по-прежнему полные синевы глаза, невольно узнаешь былую фабричную девчонку — безудержную в веселье и спорую в работе, как будто нет за плечами тяжелого груза лет и вовсе не ее недавно провожали на пенсию, как будто жизнь ее покатилась по какой-то новой орбите, проложенной в стороне от болезней и старости, о которых лишний раз задумываться нормальному человеку без особой надобности просто пустое дело.

— Здравствуй, Валентина, проходи, давно не захаживала,— встречает нас Сергей Александрович Казенов, проработавший сорок лет на комбинате, прошедший здесь путь от ученика помощника мастера до начальника цеха ткацкого производства, а ныне пенсионер и по совместительству хранитель музея, где собраны экспонаты, повествующие о славных дорогах коллектива.

— Вот они, мои дорогие подружки,— оживляется Валентина Ивановна,— вот кто вывел меня на светлый путь,— близоруко щурясь, разглядывает она знакомые лица,— это прядильщица Зоя Патрикеева, еще в 1951 году предложившая новый метод устранения обрыва нити. Как мы следили за каждым движением ее рук, пытаясь постичь секреты мастерства, хотя она ни от кого их и не скрывала, охотно учила нас, молодых. Здесь Галина Емельянова — автор инструкции по обслуживанию мотальных машин, а это Галина Кувшинова, разработавшая цикличный график ухода за прядильным оборудованием... А вот божьей милостью ткачиха Елена Егорова, добившаяся наивысшей производительности и удостоенная за это ордена Ленина...

Каждое имя — страничка истории комбината.

— Хорошо, Валентина Ивановна,— прерываю ее,— а ведь ваша слава их всех обогнала.

— Вот-вот,— щурится моя собеседница,— в те годы писали даже, что я совершила подвиг, но, понимаете, я ничего особого не сделала. Сергей Александрович тоже не раз переходил в отстающие бригады и выводил их в передовые, а это подвигом не называли. Может, мне просто повезло больше других? И я, когда относила заявление в партком, помышляла ведь не о звездах и почестях, просто очень хотела помочь подругам наладить работу, которая у них не клеилась. А что судьбе было угодно именно так распорядиться моей жизнью, так мне ли об этом судить?

— А я думаю,— вступил в разговор внимательно слушавший нас Сергей Александрович Казенов,— что ничего случайного тут нет... За сорок лет работы я много чего видел и давно убедился, что девчонки, приходящие на комбинат из деревни, зачастую честнее и совестливее в работе, чем их городские подруги. Я вот, например, иногда думаю: а разве случайно, что почти все наши маршалы — выходцы из села? То ли невзгоды человека закаляют, то ли близость к земле его возвышает. Мне действительно в свое время приходилось подтягивать отстающие коллективы, но это диктовалось скорее производственной необходимостью, у Гагановой же такое стремление само родилось, это был порыв, идущий из глубины души, это было желание облегчить ношу идущего рядом. Не подвиг — порыв. И правильно сделали, что это заметили, поддержали и провозгласили на всю страну.

«Мне многие говорили, да я и сам переживал большую радость, когда слушал выступление замечательной нашей девушки-комсомолки, бригадира Валентины Гагановой, которая выступала на Пленуме от имени работниц Вышневолоцкой фабрики Калининской области. Вы поймите, товарищи, в это надо вдуматься: никогда человек, который мыслит капиталистическими понятиями жизни, никогда он не поверит, чтобы рабочий отказался от работы, которая лучше оплачивается, и добровольно перешел на работу, которая хуже оплачивается, и стал меньше зарабатывать.

Причем эта работница пошла в отстающую бригаду не потому, что ни в чем не нуждается. Ценность и благородство поступка этого человека в том, что не материальная заинтересованность толкнула ее на такой шаг, а идея, идейная преданность коммунистическому строю. И во имя этого строя человек идет на личные жертвы».

Это цитата из выступления Н. С. Хрущева на Пленуме ЦК КПСС 29 июня 1959 года, на Пленуме, ставшем своеобразной точкой отсчета нового почина, положившего начало массовому социалистическому соревнованию за право называться ударником или бригадой коммунистического труда. Кривая роста этого движения по стране в те годы стремительно шла вверх. Поступали вести с мест — в числе последователей Гагановой люди разных специальностей и профессий: строители, шахтеры, колхозники. В мае 1960 года Всесоюзное совещание ударников коммунистического труда констатировало: движение за коммунистическое отношение к труду объединило под своими знаменами свыше пяти миллионов тружеников города и деревни, в соревнование вступили целые цехи и предприятия. Страна «выкладывалась»... Почему же потом «растеряли», почему не «сберегли»? Не потому ли, что на гребне всенародного энтузиазма поднималась уже мутная пена шумихи, показухи, шапкозакидательства? От частого употребления к делу и не к делу стирались, теряли свой изначальный смысл святые для каждого понятия. И уже многие трудовые коллективы, районы, города, целые области страны «соревновались», кто выдаст больше на-гора «гагановых». И такое «движение» развращало людей, лишало их чувства времени и ощущения реальности. Социалистическое соревнование приобретало уродливые черты формализма. Желаемое выдавалось за действительное. За многими лозунгами тех лет скрывались лишь имитация бурной деятельности, некомпетентность, нежелание мыслить реальными экономическими категориями.

— И у меня,— рассказывает Валентина Ивановна Гаганова,— закрадывалось сомнение: не слишком ли все совершается легко и просто? Каждый ли из тех, кто поддержал почин, искренен и честен перед собой и страной? Да и в количестве ли последователей суть дела? Ведь процесс перехода из передовой в отстающую бригаду даже в масштабах нашего участка проходил небезболезненно.

С годами мы все больший накапливали опыт приукрашивания действительности, умелого сглаживания острых углов. Все должно было развиваться по заданной драматургии — бригадир Гаганова оставляет вместо себя лучшую работницу Надю Смирнову, переходит в отстающую бригаду Люси Шибаловой, та счастлива, все счастливы. Гаганова и бригаду Шибаловой выводит в передовые и снова переходит в отстающую... Какое удобное сценическое развитие. В скольких «розовых» интервью я читал о том, как Люся Шибалова благодарит Валю, что та наставила ее на путь истинный... А на самом деле? Что сейчас с Валентиной Гагановой, мы знаем, а с Людмилой Шибаловой? Не знаете? И я не знал до последнего времени. А Люся, говорят, не выдержала тогда обиды, ушла с комбината, и покатилась ее судьба вниз, а потом Люся попросту спилась... Случайность? Возможно! А может быть, тут-то и был конфликт, только из области не сценической, а реальной жизни?

— Сколько же было этой показухи! — продолжает Валентина Ивановна.— Как-то я приехала в Москву, срочно надо было попасть в больницу к подруге. Москву я плохо знаю, решила взять такси. Было это в начале 70-х годов. На стоянке выстроилась вереница машин. У многих на крыле было крупно выведено: «Ударник коммунистического труда». Подхожу к одной из таких. Разбитной таксист спрашивает: «Куда, дорогая, поедем?». Говорю: «В Сокольники». А он мне: «Пятерочку накинешь — вмиг доставлю». Пыталась пристыдить его: «Ты же ударник комтруда». А он: «Ты об этом, мамаша, на собрании расскажешь, а мы за так не работаем». Помню, первый раз меня остро и неприятно кольнуло: о таком ли «коммунистическом» труде мы мечтали?



— Валентина Ивановна,— говорю,— прокомментируйте, коли выдался случай, пожалуйста, такие строки из поэмы, которую посвятил вам в те давние годы совсем молодой поэт Андрей Дементьев:

Шла Валентина
Медленно наверх,
А в кабинете
Вышел ей навстречу
Знакомый всему миру
Человек.

«Знакомый всему миру человек» — это Хрущев. Вы встречались с ним, о чем разговаривали?

— Здесь Андрюша, который, кстати, большой друг нашей семьи, несколько художественно домыслил. Не было такой встречи.

— А как же известный снимок, где вы сидите вместе?

— В перерыве между заседаниями на XXII съезде партии один фотокорреспондент уговорил меня и украинскую колхозницу Евгению Долинюк подойти к Хрущеву и попросить его сфотографироваться на память. Мы набрались решимости, подошли: по пути прихватили с собой донбасского шахтера Колю Мамая. Никита Сергеевич согласился. Так вчетвером и сфотографировались... Снимок обошел все газеты страны.

Первый съезд, делегатом которого мне посчастливилось быть,— XXII. Волновалась ужасно, а тут еще новые туфли безумно жмут. Потихоньку снимала их, сидя в президиуме, чтобы не заметили сидящие рядом. Доверили даже вести одно из вечерних заседаний. Боялась, как бы не перепутать фамилии зарубежных гостей. А в кулуарах бушевали страсти. У всех на устах имена невинно расстрелянных и посмертно реабилитированных товарищей: Постышева, Косиора, Эйхе, Рудзутака, Чубаря, Крыленко, Уншлихта, Бубнова. Стоя в сторонке с подружкой, ивановской ткачихой Юлей Вечеровой, обсуждаем выступление на съезде председателя Комитета госбезопасности Александра Николаевича Шелепина. Оказывается, летом 1957 года Булганин расставил в Кремле свою охрану, выставил дополнительные посты, никого не пропускавшие без его указания в здание правительства, где проходило заседание Президиума ЦК. Целый заговор, подумать страшно. Хотели скрыть от народа правду о «культе личности».

На съезде ко мне подходили многие видные государственные деятели, известные в стране люди, расспрашивали, как я живу, работаю, какая у меня семья. Тепло отнесся ко мне маршал Константин Константинович Рокоссовский, очень подружилась с Екатериной Алексеевной Фурцевой. Это действительно была настоящая красивая русская женщина. Вспомнили мы с ней наш Вышневолоцкий комбинат, на котором она тоже когда-то трудилась, вспомнили «рябушинскую казарму», где пришлось жить ее семье. Всплакнули даже по-бабьи. Откровенно говоря, опекала она меня — то косыночку подарит, то еще какой-нибудь пустячок. В душе у меня была гордость!

Мне трудно, конечно, о многом судить, да и не мое это дело. Но, честное слово, до сих пор не могу понять, почему вычеркивали из истории время, связанное с Никитой Сергеевичем Хрущевым?

Несколькими днями раньше беседовал я с первым секретарем Вышневолоцкого горкома партии Валерием Николаевичем Васильевым, проскользнули в его словах сдержанные, осторожные нотки, что, вот, мол, Валентина Ивановна подчас излишне резка, категорична, «шумит», что какого-то нерадивого работника надо гнать, как будто так легко найти тому замену. Вспомнив тот разговор, спросил у Валентины Ивановны, из-за чего приходится ей «шуметь».

— А из-за безответственности,— откликнулась Валентина Ивановна.— Иного слова не подберу. Александр Иванович, мой муж — шофер, всю жизнь проработавший на автобазе, сейчас не пропускает по телевизору ни одного выпуска «Прожектора перестройки». Чуть что, выговаривает: «А куда коммунисты смотрели!» Бывало, прежде я и обижалась на него, а теперь думаю, что в чем-то он прав. Почему въелась в нас ржа на кого-то сваливать дело, не брать на себя? Вот мне недавно один инструктор горкома партии говорит: «Вы, Валентина Ивановна, как член ВЦСПС не хотите ли помочь нам с отоплением». Это как же я, думаю, должна им помочь — звонить в Москву, председателю ВЦСПС, что ли? Вот до чего иные иждивенцы докатились!

От иждивенчества местных властей Валентине Ивановне пришлось хлебнуть и не раз. Кто, в какие времена догадался, что, оказывается, можно выгодно эксплуатировать бремя чужой славы? Злые языки, а их, увы, и ныне хватает, любят поговорить, что два мудрейших хитреца — тогдашние директор комбината Василий Дмитриевич Фролов и главный инженер Илья Георгиевич Трабер «сотворили» Гаганову, как химический реактив в пробирке, специально, чтобы использовать потом ее как «выбивалу», завели собственного именитого «толкача». Признаться, не сразу и понял, о чем речь. Но вот идем по проспекту Ленина, где в районе вокзала высятся сравнительно новые кирпичные «коробки» девятиэтажных жилых домов, и Валентина Ивановна вдруг заявляет: «Вот это здание с моим участием построено, и это...»

Лет пятнадцать назад хлопчатобумажный комбинат начал возводить монументальное здание Дворца культуры. Стройка поначалу шла резво, потом захирела, оказалось, нет денег. Грозила долгая консервация строительства. Тут Гагановой и сказали: «Валя, выручай». Гаганова поехала в Москву, пришла к Алексею Николаевичу Косыгину. Косыгин все понял и на прошении о выделении дополнительных ассигнований наложил резолюцию отнюдь не в адрес области, города или комбината. Написал: «Просьбу В. И. Гагановой удовлетворить». Наивно было бы полагать, что этим он кого-то устыдил. Да разве одной Гагановой приходилось закрывать чужие прорехи? Знаю и о том, как всемирно известный народный академик, титулованный всеми почестями Терентий Семенович Мальцев тоже обивал пороги инстанций, хлопоча о нуждах своей Курганской области, даже ездил в свое время в Свердловск к маршалу Жукову за... дизельным движком.

Есть у славы горький осадок. Есть и привкус наболевшей обиды. Только было повернул я разговор наш с Валентиной Ивановной в безопасное русло, заговорил о детях, вижу слезы на ее глазах...

— Вот вы все спрашиваете меня о нереализованной мечте жизни. Какая мечта? Чтобы детей был полон дом. Помню, пришла с выпускного вечера, где сыну Сережке аттестат зрелости вручали, упала на диван и реву, благо дома никого нет. Все, вырос мой старший и единственный, улетит от меня скоро. С кем останусь? А ведь и его могло не быть. Помню, собиралась рожать Сережку, а секретарь горкома укоризненно говорит: «Ох не вовремя идешь, Валентина, в декретный отпуск, ох не вовремя...» Понятно, у него свои мысли — там впереди слет, там конференция, там еще какое мероприятие. А когда ж оно, время-то, настанет? Сейчас-то его побольше, да...

Провожали Гаганову на пенсию в январе прошлого года. Провожали шумно, в несколько заходов, с торжественными собраниями и концертами художественной самодеятельности. В конференц-зале отдела главного механика набилось несколько сот человек, люди стояли в проходах. Когда бывший работник комбината, ныне директор прядильно-ткацкой фабрики «Пролетарский авангард» Юрий Петрович Забродин поклонился ей низко и положил на стол большой букет цветов, Валентина Ивановна заплакала, интуитивно нащупывая в сумочке пузырек с лекарствами.

Грустные случаются праздники, остро пахнущие запахом валокордина.

Пришли на проводы ткачихи и прядильщицы с участка, где была она когда-то мастером, пришли подруги по отделу метрологии и стандартизации, где еще недавно числилась инженером, пришли многие, и каждая, обнимая, шептала на ухо: «Валя, с комбинатом не порывай!» Сейчас Валентина Ивановна — председатель городского совета ВОИР. И поводы забежать на комбинат находит. Не так часто, как бы хотелось, попадает в родные стены, но всегда с большой радостью.

Металлические ступени еще «рябушинской» лестницы ведут наверх, в цеха, где ровным гулом гудят пневматические прядильные машины и изредка вспыхивают красные огоньки — тревожные сигналы обрыва нити, где все знакомо до мельчайшей детали, где даже воздух особенный, свой и где каждый закоулок и поворот напоминают о чем-то... «Не верите,— обращается ко мне Валентина Ивановна,— на этой машине однажды работал Юрий Гагарин, хотя, право, смешно, зачем нужна была эта показуха?»

В апреле 1964 года по приглашению Валентины Гагановой в Вышний Волочек приехал первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин. Газетные полосы того времени обошел снимок: Юрий и Валентина под ручку, оба молодые, очень красивые и очень серьезные. Город немножко сошел с ума. До сих пор Валентина Ивановна с испугом вспоминает, как у проходной завода «Красный Май» ей порвали чулки — толпа буквально вынесла их к проходной. На знаменитом предприятии, где когда-то выплавили стекло для кремлевских звезд, Юрия заставили выдуть памятную вазу — почему-то считалось, что космонавт обязан «показать класс» в любой профессии. Побывали и на Валином комбинате. Здесь начальство заставило Гагарина показать свое искусство в прядильном деле. Незабвенный сын Планеты сунул руку в машину, обжег пальцы, укололся, добавил в сердцах словцо и повернулся спиной к доброму десятку фотокорреспондентов, облепивших цеховой пролет в надежде запечатлеть эффектный кадр...

Но вот смотрю на стены цеха, где уже давно не работает Гаганова. И вижу, что девчата нынешние искусно раскрасили пролеты под березовую рощу — своды подпирают столбы, словно убегающие вдаль березки. Над ситцевым убранством повесили алый транспарант: «Прядильщицы Н. Королева, М. Соколова и Н. Пуколова решили за пятилетку выполнить 12,5 годовых заданий». Почин сегодняшнего дня. Глядит на него Валентина Ивановна и размышляет:

— Многое мы, конечно, за эти годы утратили, о романтике труда с усмешкой говорим, ее не понимаем. Время было какое-то холодное, пустое, много никому не нужных слов и мало дела. Это я у Горького вычитала: «Нет работы скорее, чем работа разрушения». Вот и разрушали... За Сережку боюсь, как у него жизнь сложится. Времена застоя прошли на глазах детей, все видели — лицемерие, пустозвонство, показуху, стяжательство, когда каждый норовил стащить, что мог. В одном меня никто не сможет переубедить: если где и остались здоровые, чистые, преданные делу люди, так это на нашем хлопчатобумажном комбинате. Вам о чем-нибудь говорят цифры с этого транспаранта? Вряд ли. А за ними ведь и романтика, и благородство, и чувство долга. Вы думаете, от хорошей жизни решились девчата на такое начинание? Как бы не так. Людей на фабрике не хватает, вот они, чтобы не простаивало дорогостоящее оборудование, и обслуживают каждая по десять прядильных машин вместо четырех, положенных по отраслевой норме. Другое дело, что зарабатывают больше своих мужей, но какой ценой?

А если подумать хорошенько, где те, чье место они занимают, куда они подались? Где сытнее, теплее, удобнее?.. Положа руку на сердце — а разве и в рабочих коллективах не развелось немало равнодушных, не желающих выкладываться? Старый мой товарищ кавалер ордена Ленина поммастера с фабрики «Пролетарский авангард» Вася Мильков рассказывал: «Мне в лицо говорят, ты карьерист. А я думаю, кому еще такую карьеру посоветовать, когда только жена и мать знают, что перед сном сапоги стянуть не могу — так распухают ноги от беганья за смену».

Сейчас иной раз телевизор включить страшно, кого только не показывают — совсем юные алкоголички, наркоманки, проститутки. А я вспоминаю, что работает у нас в цехе уже три года после десятилетки прядильщица Галя Красавцева. В свои двадцать лет все деваха успела — лучшая производственница, депутат областного Совета, зарабатывает далеко за триста. Вот мужику повезет, которому женой станет,— красивая, независимая, одетая во все модное. А главное, состоялась как Личность!

Сложный вопрос: что же нам теперь, пропагандировать женский физический труд? Время-то какое на дворе... Фотокорреспонденты и телевизионщики давно обходят стороной женщину у станка или на стройке — несовременно. А что современно?

— Если бы не тяжелая болезнь и не сложная операция несколько лет назад, никогда бы не ушла от прядильной машины,— с грустью говорит Валентина Ивановна.

Я ей верю. Нет, не количеством и тяжестью труда мерим ценность его мы, нынешние. Одухотворенностью. Все тот же порыв, движение души в сторону ближнего превыше всего во все времена.

С некоторых пор дорога в столицу становится снова привычной в жизни Валентины Ивановны, ибо рано или поздно жизнь расставляет свои акценты в вечном вопросе: кто есть кто? В сентябре 1985 года Гаганову пригласили на встречу с ветеранами стахановского движения, передовиками и новаторами производства, а спустя несколько месяцев коммунисты Калининской областной партийной организации снова, после двадцатилетнего перерыва, избрали ее делегатом теперь уже XXVII съезда КПСС.

Она очень разная, Валентина Ивановна Гаганова, то бесшабашно-простодушная: «Ой, что вы смотрите в мою сторону, не видите, молния на юбке сломалась!», то беспечно-горластая — сказывается профессиональный недуг прядильщиц — «глухота», когда говорит — на полгорода слышно, то по-женски слезливая...

Был или не был подвиг Гагановой? Не знаю...

Но, безусловно, был коммунистический поступок молодой вышневолоцкой прядильщицы как отзвук духовного порыва всего тогдашнего поколения. Поколения, чьи дороги не до глянца накатанная колея и даже не искусственный булыжник «стиральной доски», коим испытывают на прочность автомобили на автодромах, дыхание времени проверяло его в более жестком режиме, нежели машины, и тем дороже суровая нежность пройденных ею лет.

Нет, не опоздал я на встречу с Валентиной Гагановой, потому что гагановский почин на все времена — вызов сытому, устоявшемуся благополучию, нравственной слепоте, эгоизму, равнодушию. Доброе слово тем, кто в многозвучии эпох сумел услыхать возглас деревенской девчонки: «Пусть другим будет так же хорошо, как и мне!»

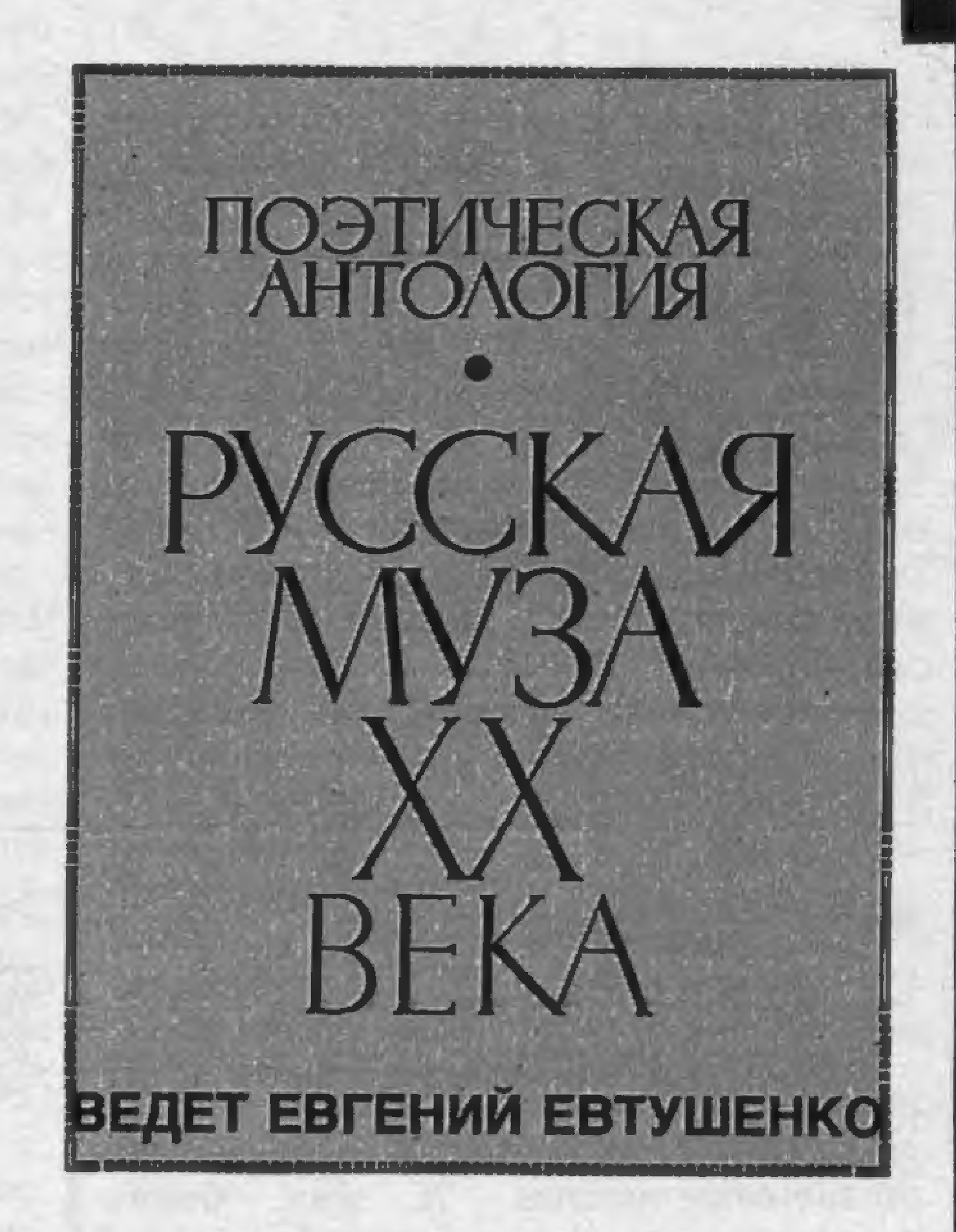
г. Вышний Волочек



Николай ЗАБОЛОЦКИЙ

1903—1958

Боже мой, только сейчас, написав эти две даты, я сообразил, что он умер в сравнительно молодом возрасте, а вот казался всегда старше: и по степенно старомодным манерам провинциального бухгалтера, и по сделанному им в поэзии. Первая книга Заболоцкого «Столбцы» была мятежно новаторской, уходя своими корнями в раннего Маяковского («Я сразу смазал карту будня»), в хлебниковские неожиданно взламываемые ямбы, в живопись Шагала, Гончаровой и Ларионова. Вся книга была пронизана издевательским презрением к «мурлу мещанина», способного поглотить все великие идеи. «Вторая книга», вышедшая в 1937 году, была бегством от социальности, становящейся опасной, в пантеизм. Но он тоже оказался небезопасен. В 1938 году Заболоцкий был репрессирован и вернулся в 1946 году благодаря заступничеству Фадеева. Сначала ушел в переводы, но затем, после 53-го года, снова выдвинулся в первые ряды поэтов, написав такие шедевры, как «Некрасивая девочка» и «Где-то в поле возле Магадана». Во всех своих ипостасях Заболоцкий — замечательный поэт.



МЕРКНУТ ЗНАКИ ЗОДИАКА

Меркнут знаки Зодиака
Над просторами полей,
Спит животное Собака,
Дремлет птица Воробей.
Толстозадые русалки
Улетают прямо в небо,
Руки крепкие, как палки,
Груди круглые, как репа.
Ведьма, сев на треугольник,
Превращается в дымок.
С лешачихами покойник
Стройно пляшет кекуок.
Вслед за ними бледным хором
Ловят Муху колдуны,
И стоит над косогором
Неподвижный лик луны.

Меркнут знаки Зодиака
Над постройками села,
Спит животное Собака,
Дремлет рыба Камбала.
Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное Паук,
Спит Корова, Муха спит,
Над землей луна висит.
Над землей большая плошка
Опрокинутой воды.
Леший вытащил бревешко
Из мохнатой бороды.
Из-за облака сирена
Ножку выставила вниз,
Людоед у джентльмена
Неприличное отгрыз.
Все смешалось в общем танце,
И летят во все концы
Гамадрилы и британцы,
Ведьмы, блохи, мертвецы.

Кандидат былых столетий,
Полководец новых лет,
Разум мой! Уродцы эти —
Только вымысел и бред.
Только вымысел, мечтанье,
Сонной мысли колыханье,
Безутешное страданье,—
То, чего на свете нет.

Высока земли обитель.
Поздно, поздно. Спать пора!
Разум, бедный мой воитель,
Ты заснул бы до утра.
Что сомненья? Что тревоги?
День прошел, и мы с тобой —
Полузвери, полубоги —
Засыпаем на пороге
Новой жизни молодой.

Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное Паук,
Спит Корова, Муха спит,
Над землей луна висит.
Над землей большая плошка
Опрокинутой воды.
Спит растение Картошка.
Засыпай скорей и ты!

1929.

ИВАНОВЫ

Стоят чиновные деревья,
Почти влезая в каждый дом.
Давно их кончено кочевье,
Они в решетках, под замком.
Шумит бульваров теснота,
Домами плотно заперта.

Но вот все двери растворились,
Повсюду шепот пробежал:
На службу вышли Ивановы
В своих штанах и башмаках.
Пустые гладкие трамваи
Им подают свои скамейки.
Герои входят, покупают
Билетов хрупкие дощечки,
Сидят и держат их перед собой,
Не увлекаясь быстрою ездой.

А там, где каменные стены,
И рев гудков, и шум колес,
Стоят волшебные сирены
В клубках оранжевых волос.
Иные, дуньками одеты,
Сидеть не могут взаперти.
Прищелкивая в кастаньеты,
Они идут. Куда идти,
Кому нести кровавый ротик,
У чьей постели бросить ботик
И дернуть кнопку на груди?
Неужто некуда идти?

О мир, свинцовый идол мой,
Хлещи широкими волнами
И этих девок упокой
На перекрестке вверх ногами!
Он спит сегодня, грозный мир:
В домах спокойствие и мир.

Ужели там найти мне место,
Где ждет меня моя невеста,
Где стулья выстроились в ряд,
Где горка — словно Арарат —
Имеет вид отменно важный,
Где стол стоит и трехэтажный
В железных латах самовар
Шумит домашним генералом?

О мир, свернись одним кварталом,
Одной разбитой мостовой,
Одним проплеванным амбаром,
Одной мышиною норой,
Но будь к оружию готов:
Целует девку — Иванов!

1928.

НЕКРАСИВАЯ ДЕВОЧКА

Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы худая
рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен,
зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, сверстникам ее,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики, не торопясь
к обеду,
Гоняют по двору, забывши про нее,
Она ж за ними бегает по следу.
Чужая радость так же, как своя,
Томит ее и вон из сердца рвется,
И девочка ликует и смеется,
Охваченная счастьем бытия.

Ни тени зависти, ни умысла худого
Еще не знает это существо.
Ей все на свете так безмерно ново,
Так живо все, что для иных мертво!
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Мне верить хочется, что сердце
не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый
этот пламень,
Который в глубине ее горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты ее нехороши
И нечем ей прельстить
воображенье,—
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом ее движенье.
А если это так, то что́ есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

1955.

О КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЛИЦ

Есть лица, подобные пышным
порталам,
Где всюду великое чудится
в малом.
Есть лица — подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет
сычуг.
Иные холодные, мертвые лица
Закрыты решетками,
словно темница.
Другие — как башни,
в которых давно
Никто не живет и не смотрит в окно.
Но малую хижинку знал я когда-то,
Была неказиста она, небогата,
Зато из окошка ее на меня
Струилось дыханье весеннего дня.
Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица — подобья ликующих
песен.
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.

1955.

ГДЕ-ТО В ПОЛЕ ВОЗЛЕ МАГАДАНА

Где-то в поле возле Магадана,
Посреди опасностей и бед,
В испареньях мерзлого тумана
Шли они за розвальнями вслед.
От солдат, от их луженых глоток,
От бандитов шайки воровской
Здесь спасали только околодок
Да наряды в город за мукой.
Вот они и шли в своих бушлатах —
Два несчастных русских старика,
Вспоминая о родимых хатах
И томясь о них издалека.
Вся душа у них перегорела
Вдалеке от близких и родных,
И усталость, сгорбившая тело,
В эту ночь снедала души их.
Жизнь над ними в образах природы
Чередою двигалась своей.
Только звезды, символы свободы,
Не смотрели больше на людей.
Дивная мистерия вселенной
Шла в театре северных светил,
Но огонь ее проникновенный
До людей уже не доходил.
Вкруг людей посвистывала вьюга,
Заметая мерзлые пеньки.
И на них, не глядя друг на друга,
Замерзая, сели старики.
Стали кони, кончилась работа,
Смертные доделались дела...
Обняла их сладкая дремота,
В дальний край, рыдая, повела.
Не нагонит больше их охрана,
Не настигнет лагерный конвой,
Лишь одни созвездья Магадана
Засверкают, став над головой.

1956.



И ВСЕ-ТАКИ, БУДЕТ ЛИ В НАШИХ КВАРТИРАХ ТАКСОФОН? ●
НЕТРУДОВЫЕ ДОХОДЫ МИНИСТЕРСТВА ●
ОШИБКА ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ? ●
МАКУЛАТУРА — ДЛЯ «ДЕТЕЙ АРБАТА»! ●

■

Хорошо известно, что человек, изобличенный в получении нетрудовых доходов, несет уголовную ответственность. А как быть в том случае, когда нетрудовые доходы получает целое министерство, например, путей сообщения?

Месяц назад мне понадобилось съездить в Черкассы. Я рассчитал таким образом, что, приехав в город в 13.45 (по расписанию), успевал оформить все необходимые бумаги у нотариуса и снять с учета автомашину в ГАИ. А вечером того же дня уехать поездом в Москву. Учел все, за исключением того, что мне придется столкнуться с Министерством путей сообщения.

Купив билет на поезд № 61, прямо с вокзала позвонил в Черкассы и попросил достать мне обратный билет. Но, приехав домой, обнаружил, что билет у меня на другой поезд, и через четверть часа стоял перед той же самой кассиршей. Тоном, не терпящим возражений, она прочла мне мораль, что надо было проверять, не отходя от кассы, и что кассиры такие же люди, как и все. Признав свою ошибку, направила меня сдать билет. За эту не очень мудреную операцию с меня удержали 5 рублей. Я за свою ошибку потерял пять рублей, а железнодорожники за свою ошибку пять рублей заработали...

В Черкассы поезд опоздал на два часа, я успел к нотариусу, но не успел в ГАИ, а на следующий день ГАИ не работала. Обратный билет пришлось сдать. Еще минус 5 рублей моему бюджету и плюс 5 — на счет министерства. А для меня еще и два впустую пропавших дня. В заключение всех моих злоключений скажу, что и в Москву поезд опоздал на 50 минут.

Теперь хотелось бы задать вопрос: почему Министерству путей сообщения все обходится без последствий? Ведь многократное подорожание цен на билеты не улучшило положение дел. Ведомство не выполняет взятые на себя обязательства доставки пассажиров в срок. А не ввести ли такую систему, при которой Аэрофлот и железнодорожники при опозданиях (за исключением метеоусловий) оплачивали бы пассажирам неустойку? Уверен, что нарушений было бы гораздо меньше. Во многих странах мира давно существует такое соглашение между пассажирами и компаниями.

Г. Г. МЕДВЕДЕНКО
Москва.

■

То, что в действительности была Малая земля, что там, не щадя своих жизней, сражались с фашистскими войсками наши воины, споры ни у кого не вызывает. И я, как участник Великой Отечественной, склоняю свою седую голову перед теми, кто навеки остался лежать на этом маленьком клочке земли, и перед теми, кто, на наше общее счастье, остался жив.

Вот только в толк не могу взять, зачем понадобилось издавать лежащую сейчас передо мной книгу? Чтобы прославить сражавшихся на Малой земле солдат? Ничего подобного! Целью издания было прославление Брежнева, утверждение его культа личности. Для этого использовались каждый день на протяжении нескольких лет все средства массовой агитации и пропаганды: газеты, радио, телевидение, лекции. Все это делалось так бессовестно, так неуважительно к мнению самого народа, что в итоге чтение газет и просмотр телепередач с фотографиями Брежнева начали вызывать у людей возрастающую неприязнь ко всей исходящей сверху информации. Каждый день только и слышалось: «Малая земля», «Малая земля»! А куда же исчезли великие сражения под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге?

Предлагаю книгу «Малая земля» переиздать так, чтобы в ней ожили настоящие герои. Считаю, что это произведение в нынешнем виде не стоит держать ни в библиотеках, ни в музеях Великой Отечественной войны, так как всем известно, что Брежнев никогда не был ее автором, а следовательно, никогда не был выдающимся литератором. Непонятно, как могли присудить ему за это сочинение Ленинскую премию? Как он мог стать членом Союза писателей, когда в повседневной жизни не мог без заранее подготовленной шпаргалки приветствовать своих товарищей по работе?

Ф. А. СНЕГИРЕВ,
инвалид войны, пенсионер
Киев.

■

Сколько было дебатов о целесообразности перехода на новую систему оплаты личных телефонов! Какие убедительные приводились доводы против подобной «осознанной необходимости» — и с экономической, и с правовой, и с моральной точек зрения! Как веско в целом ряде публикаций обосновывалась несправедливость предполагаемого новшества, особенно в отношении пожилых одиноких людей. Да и по отношению к кому бы то ни было, прозрачно намекали многие авторы, иначе как грабительским такое «усовершенствование» не назовешь. Находились, правда, адепты перехода — главным образом из числа разработчиков, чиновников Министерства связи. Однако чаша весов общественного мнения явно склонялась не в их пользу. И, уж во всяком случае, ни о какой точке в дискуссии по этому поводу (если понимать под точкой решение в пользу перехода на телефонные счетчики) говорить не приходилось.

Но вот отдали дань гласности, соблюли условности, и хватит. Не знаю, как по-другому расценить содержание следующей информации из газеты «Вечерний Ленинград» от 25 сентября: «Как сообщили в Ленинградской городской телефонной сети, в конце 12-й пятилетки предполагается перевод Ленинградской городской телефонной сети на систему повременной оплаты местных разговоров».

Н. ЗАЙЦЕВА,
пенсионерка, участник войны
Ленинград.

■

Хочу выразить вам свое возмущение материалами, публикуемыми вашим журналом в последнее время. В № 48 вы дали трибуну жене Бухарина. Не могу описать чувство возмущения, охватившее меня. Меня буквально дрожь бьет, как в лихорадке. Я потерял здоровье, перенеся клещевой энцефалит, именно из-за таких выродков, как этот шпион Бухарин и его жена, которых я пять лет охранял в системе Дальстроя, а вы теперь представляете их как каких-нибудь ангелов! И это уже не первая публикация такого рода! В № 47 вы публикуете огромный хвалебный материал о враге народа Вавилове и пытаетесь уверить нас, что сын миллионера мог быть преданным Советской власти! Не может такого быть! Там же — статья А. Аджубея (кстати, он не из крымских ли татар?), рассказы белогвардейки Тэффи, «картина» некоего М. Ромадина с голой женщиной! Я пришел к выводу, что журнал ваш антисоветский, и читать его больше не буду. Но знайте, найдется и на вас управа.

А. АРБУЗОВ
Москва.

■

Сейчас интересно читать газеты и журналы, много пишется о том, что волнует каждого советского человека, и коль скоро идет коренная перестройка общества, преобладают материалы критического характера. Прежде чем что-либо перестроить, надо разобрать старое, убрать и вывезти мусор, подготовить площадку для возведения нового. Критики больше, чем восхвалений — это естественно и понятно. Полезнее исследовать любой вопрос с точки зрения диалектики, борьбы добра и зла в жизни общества. Достойно восхищения то, что прежние успехи и победы наш народ добыл вопреки всем трудностям. Теперь надо двигаться дальше. Это понимает каждый, кто желает успеха перестройке.

Но тревожит недостаточная действенность гласности. Газеты и журналы пишут, например, о безобразиях в той или иной сфере нашей жизни, однако те, от кого зависит наведение порядка, помалкивают. Сколько горячих, резких, обоснованных выступлений мы читаем и слушаем по вопросам торговли, бытового обслуживания, особенно автосервиса! Однако положение не улучшается. Где деловой ответ, например, руководителей объединения «АвтоВАЗ» и других автозаводов на критику о том, что отсутствие запчастей является главной причиной безобразий и преступлений в автосервисе? А ведь разговоры об этом ведутся десятки лет.

Обязательно должен быть принят закон о печати, который бы юридически определил ответственность организаций, критикуемых прессой.

А. Н. ИВЛЕВ,
инженер
с. Яркое Поле Крымской области.

■

Одна из тем, поднятых вашим журналом, касается судебных и следственных «ошибок» (как их принято называть). Несколько лет назад в «Огоньке» публиковались очерки по следам уголовного дела женщины-журналистки из Днепропетровска (№ 47, 1983 год и № 13, 1984 год). Ее обвинили в убийстве родной матери и по материалам, сфабрикованным местным следователем, осудили. Но впоследствии после вмешательства Верховного суда СССР оправдали. 2 года и 8 месяцев она была лишена свободы. Здесь целый букет уголовно наказуемых деяний со стороны следствия, суда и прокуратуры.

Еще тогда у меня вызвала недоумение слишком мягкая мера наказания должностных лиц, виновных в осуждении невинного человека. Затем, в прошлом году, дело петрозаводских оперуполномоченных, избивавших подозреваемых на допросах. За последнее время опубликовано много подобных критических материалов в нашей периодической печа-

НОВОЕ В ПОДПИСКЕ

Дорогие друзья! Тем из вас, кто не представляет своей жизни без общения с «Огоньком», сообщаем: в любой день вы можете оформить подписку не только на нынешний, но и на следующий год. Такое нововведение в приказе № 360 Министерства связи СССР обосновывается тем, что «при оформлении подписки имеет место штурмовщина, разнарядка тиражей по предприятиям и организациям, нарушение принципа добровольности, что противоречит происходящей в нашей стране демократизации всех сфер общественной жизни, ограничивает свободу выбора необходимых читателю изданий, искажает картину реального спроса, вызывает справедливые нарекания трудящихся». В связи с этим «в целях более полного удовлетворения спроса на-

ти. И возникает вопрос: почему же эти преступления называют следственными или судебными ошибками? Не пора ли все без исключения называть своими именами? Я не юрист, но читал Уголовный кодекс, а в нем черным по белому написано: «Преступления против правосудия».

И второй вопрос. Почему нет в продаже в книжных магазинах Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса? Это что, секретная книга? Мы уже много лет говорим о правовом воспитании населения и особенно — подрастающего поколения. Ведь спроси любого человека о самых элементарных его обязанностях и ответственности перед законом, он и понятия не имеет. А там есть сведения о правах гражданина в случае нарушения закона им самим или другим лицом. Если большинство овладеет правовым минимумом, то, наверное, будет меньше нарушений закона в нашем обществе.

Меньше станет нарушений и со стороны административных, хозяйственных и советских органов, если люди будут знать о своей и чужой ответственности перед законом, о тех или иных действиях или бездействиях.

Мне кажется, не все подробно знают об ответственности должностных лиц за направление жалобы граждан в ту инстанцию, на которую гражданин или группа граждан жалуются вышестоящему должностному лицу. Хорошо бы наиболее часто случающиеся нарушения не только освещать в печати, но и массовыми тиражами издавать законы.

Г. М. ЗИСКИНД,
рабочий, 1931 года рождения
Отрадное Ленинградской области.

■

В № 38 опубликовано письмо группы канадских учителей русского языка, которые «с глубоким изумлением и тревогой» обнаружили малую начитанность и низкий культурный уровень многих наших учащихся.

Очень печальное открытие, хотя неожиданным его не назовешь. Хорошо известны проблемы нашей школы, и главная из них — нежелание учеников учиться. Причин этому много, но одна из основных, на мой взгляд, в низкой престижности образования и образованности. Давно уже морально возвеличивается, материально поощряется физический труд и принижается труд умственный. У школьников появилась шутка: «Учиться вредно. Чем больше учишься, тем меньше получаешь». И надо признать, в этой шутке есть доля истины, и немалая.

Совершенно очевидно, что необходимо поднять престиж умственного, интеллектуального труда.

Э. Г. МИРОНОВ
Свердловск.

■

Полгода наша семья копила деньги на магнитофон. Наконец в сентябре мечта сбылась. Но радость оказалась преждевременной, в магазинах нет кассет — ни с записями, ни пустых. И стоит наша радость (300 рублей) в уголочке и молчит. Недавно в магазине узнали, что кассеты скупают «на корню» кооперативы. Запись на их кассете стоит 10 рублей, на кассете заказчика — 6. Цены грабительские. Объясните, пожалуйста, что же это такое? И когда кассеты появятся на прилавках государственных магазинов?

Семья СТЕПАНОВЫХ
Ленинград.

■

Пять лет назад я был направлен главврачом в сельскую амбулаторию. Ее здание находилось в аварийном состоянии, это даже официально было признано. Мебель 10—20-летней давности, приборов вообще нет, транспорт — хромая лошадь, территория работы — около 200 квадратных километров. Два года пытался исправить положение с помощью просьб и увещеваний руководителей центральной районной больницы, которой непосредственно подчиняюсь, и руководителей двух колхозов и совхозов, чьих людей мы лечим. Все было впустую.

Пришлось избрать другую тактику. Стал жаловаться. В результате — амбулатория расположена в новом здании, лучшем, чем совхозная контора, аппаратура и мебель образца 1986—1987 годов, автомобиль «УАЗ» хоть и старый, но еще работоспособный.

Есть, правда, и минусы. Если в первые два года моя работа оценивалась благодарностями, похвальными статьями в районной газете и премиями, то к концу пятого мне с трудом подписали характеристику на турпоездку в соцстраны (напомнили о моем письме в райком, факты которого хоть и подтвердились, но доставили лишние хлопоты).

К сожалению, работу порой оценивают не электронные машины, а люди, главный талант которых иногда заключается в способности представить плюс минусом. И если в моем случае эти минусы решающей роли не играют (меньшей должности в здравоохранении найти трудно и более глухой деревни тоже, премии настолько редки, что ими, как говорят математики, можно пренебречь), то на более высоком уровне интересы дела часто приносятся в жертву хорошим отношениям с начальством. Для перестройки здравоохранения решающим фактором должна стать личность руководителя здравоохранения, каким бы участком он ни управлял. Это важно во всех отраслях, особенно в непроизводственных. Критерии оценки работы здесь бывают весьма приблизительны, часто меняются, зависят от того, кто оценивает. Материальная база зачастую слабая, и «пробивная» способность ответственного лица будет еще долго определять положение возглавляемого им участка.

А. СУХОБОКОВ
д. Девенишкес
Литовской ССР.

■

16 декабря состоялось первое заседание клуба читателей журнала «Огонек» в Центральной библиотеке. Вел его организатор клуба, энтузиаст Юрий Викторович Ратлер, руководитель молодежного театра-студии. Для первого заседания была выбрана тема «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты». Разговор шел в основном о литературе («Кто ваш властитель душ?», «Поэзия», «Может ли слово изменить мир»).

Когда зашла речь о молодежной рок-музыке, о поведении молодежи на концертах рок-групп, я высказал такое мнение: причины эксцессов — в невозможности «израсходовать» энергию на созидательную деятельность, на то, в чем заинтересовано наше общество, из-за отсутствия необходимых для этого структур. Как видите, мое мнение совпадает с мнением автора статьи «Дети апреля» Александра Радова. Молодые люди должны быть активными хозяевами, а не иждивенцами в своей стране, это не единственно привилегированный, а полноправный «класс» нашего общества. Только из активной деятельности может вырасти активная жизненная позиция. Из красивых слов в сочинении — никогда!

Направить в русло творчества и созидания детство — одна из важнейших задач перестройки. Она должна быть здесь самой решительной и, конечно, при активном участии самих школьников.

Вячеслав АНДРЮШИН
Сочи.

■

Целиком соглашаясь с каждой строкой статьи Сергея Власова «Безделицу позабыли» (№ 40), высказываю недоумение вот по какому поводу. Автор пишет: «Самое поразительное в этой истории то, что ходатайствовали и о снятии с охраны, и о выселении из дома Чуковского... его собратья по перу». Кто именно? Почему не называете этих чиновников от литературы? (К сожалению, подобное умалчивание встречается и в других выступлениях журнала.) Боимся их задеть? Они-то не стесняются вытравить память о таких прекрасных писателях и людях, как Корней Чуковский и Борис Пастернак. Не заставляйте меня (и не только меня!) подозревать любого из известных мне писателей, думать, кто мог подписать исковое заявление в суд. У нас гласность.

В. В. Попов
Барнаул.

■

В статье «Что позади?» в № 32 вы пишете, что каждый должен прочесть книгу А. Рыбакова «Дети Арбата». Чтобы это стало возможным, нужно обеспечить огромный тираж бумагой. Я предлагаю «Огоньку» способствовать этому. Нужно объявить издание по абонементу, как это делается для других произведений. Даже 10-миллионный тираж, уверена, будет возможен и обеспечен сданной макулатурой, только бы была возможность приобрести «Детей Арбата», «Белые одежды» В. Дудинцева, «Мужиков и баб» Б. Можаева. Я понимаю, что разрешение должны дать другие организации, но «Огонек» достаточно авторитетное издание, чтобы к нему прислушались.

Б. Д. ЗЕЛИГЗОН,
учитель истории, ветеран труда
Киев.

■

В конце октября ЦТ объявило о демонстрации четырехсерийного фильма «Революция продолжается». Были показаны две первые серии, разговор в них действительно шел очень интересный, но вот третья серия, заявленная на 28 октября, вдруг исчезла бесследно и беззвучно. Совсем как в «добрые» времена застоя. Помните? Когда печатающаяся с продолжением повесть вдруг обрывалась на самом интересном месте и продолжение уже никогда не следовало.

В. П. ГУБАРЕВ
Кустанай.

селения на периодическую печать ... прием индивидуальной подписки на советские и зарубежные газеты и журналы (кроме перечисленных в приложениях №№ 1 и 2) проводить без ограничений... с доставкой с января 1989 года и последующих лет — с 1 января до 1 ноября предподписного года (за исключением лимитированных периодических изданий, подписку на которые принимать с 1 августа до 1 ноября)».

Издав такой приказ, может быть, стоит подумать и о льготах для долгосрочных подписчиков, брать, например, с них меньшую сумму, как это делается во многих странах мира.

Принять подписку на журнал года за полтора до его выхода в свет — это, конечно, удобно. Но хочется также, чтобы читатели тратили меньше сил и нервов, не выложив деньги вперед на отдаленный срок, а продлевая подписку в течение года. Как и раньше, это можно сделать до первого числа предподписного месяца. Если вам откажут, сославшись на то, что такие сроки действительны только для Москвы, а у них другие правила, считайте это нарушением приказа министра связи СССР со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так нам сообщили в Центральном подписном агентстве. Правила для всех одни.

Особенно просим обратить на это внимание связистов Челябинска, объявивших 24-летнему рабочему И. В. Стариковскому о распоряжении городского агентства «Союзпечать» заканчивать подписку на все центральные журналы за 40 дней. Недоверчивый читатель позвонил в агентство и получил подтверждение сказанному. И хочется, чтобы последними стали письма вот такие, как из Пятигорска от ветерана войны, инвалида 2-й группы Е. Ф. Янюка: «Решил подписаться на ваш журнал с августа 1987-го и до конца года. Но мне отказали. Мол, подпишитесь в августе на 88-й год. Почему?» Или из Саратова, где читателя И. Г. Бочарова, решившего в ноябре выписать «Огонек» и получать его с февраля, 40-е отделение связи на целый месяц лишило этого удовольствия, оформив подписку только с марта.

Не раз мы уже писали о доставке, но по-прежнему идут огорчающие письма. «После четырехнедельного перерыва доставлен всего один — № 43. Пропущены №№ 42, 44, 45, 46»,— пишет Г. А. Ильин из Архангельской области. Не все «Огоньки» получает С. С. Смородинова, живущая в Гремяченске Пермской области, хотя ящик ее находится на почте.

В № 48 редакция просила министра связи СССР В. А. Шамшина разобраться с этими проблемами и исправить положение. Как нам сообщили, этот вопрос готовится к рассмотрению. Будем надеяться, что связисты с пониманием отнесутся к тем заботам читателей, которые они во многом создали сами.

Ольга НЕМИРОВСКАЯ,
корреспондент отдела
морали и писем

«ОГОНЬКУ» ОТВЕЧАЮТ

Коллегия Прокуратуры Союза ССР 25.12.87 г. обсудила опубликованную в № 51 журнала статью М. Муравьева «404 дня». Учитывая серьезность сообщаемых фактов, принято решение о проведении расследования для установления конкретных виновников, допустивших противозаконные действия по делу Леоновой Л. И.

О результатах следствия и принятых конкретных мерах редакции будет сообщено дополнительно.

А. М. РЕКУНКОВ,
генеральный прокурор СССР,
действительный государственный
советник юстиции

Наш адрес:
101456,
ГСП, Москва,
Бумажный
проезд, 14



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Недавно в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина прошла выставка, посвященная творчеству Александры Экстер. Имя художницы — среди признанных мастеров советского искусства, ее работы воспроизведены во всех крупных монографиях по истории театрально-декорационного и изобразительного искусства XX века. В основу экспозиции легла богатейшая коллекция работ А. Экстер, хранящаяся в фондах Третьяковской галереи, Русского музея, Музея имени Бахрушина, частных коллекций Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы, документы о жизни и деятельности художницы из архивов и музеев страны, многие из которых экспонировались впервые.

Михаил КОЛЕСНИКОВ



Среди современной русской живописи так называемого левого направления художница Александра Экстер занимает свое особое место. Это место утверждено за ней не шумом и трюками, которыми художнической молодежи всех стран невольно приходится эпатировать буржуа или завлекать в свои сети снобов, чтобы пробить дорогу молодому искусству. Наоборот, на общем фоне левых течений, суетном и пестром, как арлекинада, эта художница отличается редкой серьезностью своих выступлений и вдумчивостью своих исканий».

Эти слова, написанные в 1922 году замечательным советским искусствоведом Я. Тугендхольдом — первым биографом Александры Экстер, время лишь подтвердило. Идеи и поиски А. Экстер получили свое продолжение и развитие в творчестве ее учеников и соратников, замечательных советских художников — А. Веснина, И. Нивинского, А. Тышлера, Н. Шифрина, А. Петрицкого, В. Меллера и других.

Как и большинство художников русского авангарда, А. Экстер начинала с импрессионизма, а точнее — с постимпрессионизма, тут ее привлекали чисто живописные задачи. Краткое пребывание А. Экстер в парижской Академии Гранд Шомьер кончилось скандалом, что стало почти традиционным для всякого незаурядного дарования. Профессор академии, светский портретист Карло Дельваль, возмутился колоритом художницы, уже тогда не похожим на академические «рецепты».

Под влиянием французских кубистов, сплотившихся в 1910 году вокруг «Салона Независимых», А. Экстер, как подметил Я. Тугендхольд, «отвернулась от полихромии своих первых работ и ограничила палитру серой гаммой для того, чтобы с большей страстью отдаться задачам формы». «В ее холстах была зеленая холодность»,— вспоминал Д. Бурлюк. С кубистами ее познакомил Серж Ястребцов (Фера). Завязываются дружеские отношения с П. Пикассо, Ж. Браком, Г. Аполлинером, М. Жакобом, затем с итальянскими футуристами Ф. Маринетти и П. Паппини.

Живя в эти годы в Киеве, Москве, Париже, А. Экстер знакомит многих русских художников с работами французских кубистов.

Художница сближается с «будетлянами» — русскими футуристами, принимает участие в их изданиях («Первый журнал русских футуристов», сб. «Молоко кобылиц» и др.), во многих крупных выставках художественных обществ и группировок («Звено» и «Кольцо» в Киеве, «Бубновый валет» в Москве, «Союз молодежи» в Петербурге и Риге, в Салоне Издебского в Одессе, в Международной футуристической выставке в Риме, в «Салоне Независимых» в Париже).

Переломным в творчестве А. Экстер стал 1915 год. К этому времени относится и начало работы А. Экстер в театре.

«По большинству полотен художницы видно, что ее живописи тесно в рамках, что художница наделена даром конструировать в пространстве. Как мне было не искать с ней союза, когда ее работы были ориентированы на трехмерную декорацию, а именно на этой пространственной идее основывался принцип авангардного театра. Упразднить живописные завесы и, перестроив поновому сценическую площадку, извлечь новые эффекты из трехмерной декорации и организующих ее законов — такова была, в сущности, наша цель»,— писал режиссер Александр Таиров, пригласивший А. Экстер сотрудничать в Московский камерный театр.

Интересно, что А. Родченко в своих воспоминаниях об организации и проведении в Москве в 1916 году выставки «Магазин» называет А. Экстер наиболее известной из всех участников выставки благодаря ее работе в Камерном театре.

И действительно, первый же спектакль, поставленный А. Таировым совместно с А. Экстер по пьесе И. Анненского «Фамира Кифаред» в 1916 году, был объявлен критиками «театральной революцией».

Художница оформляет еще два спектакля в Камерном театре — «Саломея» О. Уайльда и «Ромео и Джульетта» В. Шекспира и в каждом из них дает великолепный пример проникновения в драматургический материал.

Подлинным реформатором А. Экстер стала в области театрального костюма, в работе над которым она добивается «архитектурности», динамичности форм, насыщенности цвета.

После установления в Киеве Советской власти художница принимает активное участие в агитпропе, оформляет улицы к празднику Красной Армии. Как опытного «монументального пропагандиста» Александру Экстер направляют в Одессу для подготовки к празднованию 1 Мая. Со своими учениками она расписывает агитпароход «Пушкин» и агитпоезда. В начале 20-х годов художница занимается конструированием одежды в Ателье мод Москвошвея, работает над созданием парадной одежды для Красной Армии, оформляет Всероссийскую выставку сельского хозяйства и промышленности и Всероссийскую художественно-промышленную выставку. Выставляет свои работы на Первой выставке русского искусства в Берлине (1922) и Международной выставке в Венеции в 1924 году.

А. Экстер ведет активную педагогическую деятельность. Организует обучение в детской художественной школе в Одессе, открывает вместе с И. Рабиновичем мастерскую декоративного искусства в Киеве. В 20-х годах А. Экстер преподает в Академии современного искусства Ф. Леже в Париже, а затем в его мастерской.

Работая в театре, художница продолжает поиски и в области станковой живописи, развивая принципы, по определению одного из исследователей ее творчества, «лирического конструктивизма». Круг творческих интересов А. Экстер удивительно многообразен, и всегда — в живописи, графике, театрально-декорационном искусстве, конструировании одежды, создании марионеток — во всем она идет своим путем, оставаясь, как и каждый большой художник, над всевозможными «измами».

Б. Лившиц в «Полутораглазом стрельце» писал: «...три замечательные женщины (О. Розанова, Н. Гончарова и А. Экстер.— **М. К.**) все время были передовой заставой русской живописи и вносили в окружающую их среду тот воинственный пыл, без которого оказались бы немыслимы наши дальнейшие успехи. Этим настоящим амазонкам, скифским наездницам, прививка французской культуры сообщила только бо́льшую сопротивляемость западному «яду»...»

Выставка, проходившая недавно в Государственном Центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина, предоставила уникальную возможность проследить эволюцию творчества А. Экстер с 1908 по 1924 год. От импрессионизма к конструктивизму — таков путь, пройденный художницей.

Александра Александровна с середины 20-х годов жила в Париже и умерла в его пригороде 17 марта 1949 года. Всю жизнь она представляла на крупнейших международных выставках советское искусство и до последнего дня оставалась гражданином СССР.

ПО СЛЕДАМ ХУДОЖНИЦЫ

Никита **ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ**

От художника Симона Лиссима, бывшего близким другом Александры Экстер до своего переезда в 1941 году в США, мы узнали, что она умерла в Фонтене-о-Роз, близ Парижа.

После смерти Александры Александровны большинство ее рисунков было отправлено по почте ее душеприказчиками, согласно ее завещанию, г-ну Лиссиму. Однако мы были уверены, что кое-что из ее произведений должно было остаться во Франции, и решили их разыскать. Возможность это сделать представилась в 1965 году, когда мы с женой провели несколько месяцев в Париже.

Моя жена Нина отправилась в Фонтене-о-Роз. В местной мэрии ей показали метрическую запись от 17 марта 1949 года о кончине Александры Экстер: «Мадам Жорж Некрасова, урожденная Александра Александровна Григорович, 29, рю Бусико».

Отправились по указанному адресу и нашли трехэтажный дом. Обитатели дома ничего не знали относительно г-жи Экстер, но сообщили имя и парижский адрес собственницы дома, г-жи Иветты Анзиани.

Г-жа Анзиани с большой любовью вспоминала об Александре Экстер. Она захватила с собой несколько фотографий, записок и небольших сувениров и рассказала мне следующее.

После кончины в Одессе первого мужа Александра Александровна вышла замуж за артиста Георгия Некрасова 25 октября 1920 года в Москве. Покинув в 1924 году Советский Союз вместе с мужем и няней Настей, она поселилась в Париже на рю Брока, 154. Александра Александровна, обладавшая преподавательским даром, стала давать у себя на квартире уроки театрального искусства и живописи. В 1929 году 17 октября Александра Александровна переехала в Фонтене-о-Роз.

В 1936 году А. А. Экстер приготовила несколько полотен для Международной выставки театрального искусства в сентябре и октябре того же года в Вене. В следующем году она послала несколько эскизов

На выставке в Музее имени Бахрушина можно было увидеть также листы из альбома «Александра Экстер. Театральные декорации» (Париж, 1930), переданные Н. Д. Лобановым-Ростовским в дар Музею изобразительных искусств имени Пушкина для Музея личных коллекций. Выходец из России, живущий в Лондоне, Никита Дмитриевич за короткое время собрал богатейшую коллекцию произведений русского театрально-декорационного искусства.

Наиболее полное собрание работ Александры Экстер — у Лобанова-Ростовского. В своей статье Никита Дмитриевич рассказывает о поисках архивов и произведений художницы, находящихся на Западе.

костюмов и оформления сцены на выставку театрального искусства, устроенную в Канадской национальной галерее в Оттаве. В 1938 году она работала для парижского книгоиздательства Фламмарион. Сделала ряд развертывающихся панорам для детей: «Река», «Гора» и «Море».

В 1945 году умер муж А. А. Экстер. В годы войны жизнь ее была очень тягостной. Она потеряла связь со своими друзьями и учениками, однако все время продолжала работать.

В те дни она часто вспоминала о Таирове и Мейерхольде и беспокоилась о судьбе своих друзей.

После окончания войны г-ну Изратти, коммерсанту, впоследствии душеприказчику Александры Экстер, удалось найти для нее студию, где она имела возможность снова заниматься живописью и получать заказы.

В течение долгих лет болезни А. А. Экстер о ней постоянно заботилась сестра милосердия Мишелина Строль. Г-жа Анзиани сообщила нам ее адрес в Фонтене-о-Роз.

В следующее за этим воскресенье мы, условившись заранее с г-жой Строль, поехали ее навестить. Она занимала небольшую квартирку при больнице, и ко-

А. А. ЭКСТЕР (1882—1949)

ЦИРК. 1930



СПЕКТАКЛЬ «ФАМИРА КИФАРЕД». ЭСКИЗ КОСТЮМА 1916



гда мы вошли туда, то оказались окруженными произведениями А. Экстер. На стенах висело 4—5 больших картин масляными красками и несколько трафаретов из книги «А. А. Экстер. Театральные декорации», комод, разрисованный А. А. Экстер, с ящиками, наполненными трафаретами и различными иллюстрациями для книг. На каминной полке стояли чашка и блюдце, расписанные С. М. Лиссимом. Г-жа Строль рассказала нам, что А. А. Экстер боролась с нищетой в течение военных лет и спокойно ждала смерти. В письме, адресованном скульптору Владимиру А. Издебскому, она пишет: «Мне очень тоскливо, и я не вижу конца этого...

Продолжение на вкладке 3.

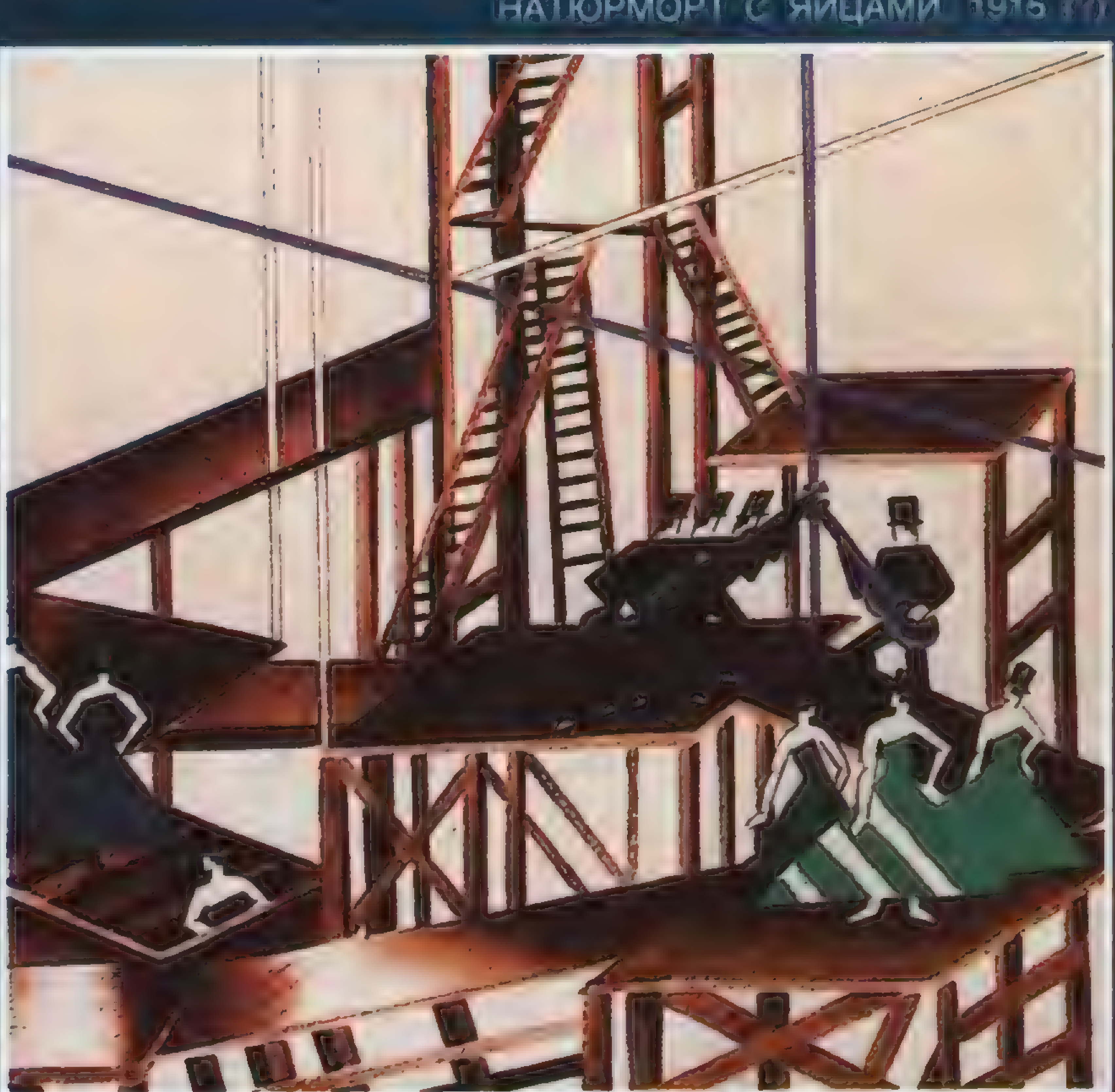


НАТЮРМОРТ С ЯЙЦАМИ. 1915 (?)



ИСПАНСКИЕ ТАНЦЫ. ЭСКИЗ ЖЕНСКОГО КОСТЮМА. 1920.

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». ЭСКИЗ КОСТЮМА. 1921



РЕВЮ. 1930

Артем БОРОВИК.
Фото автора

ДЕСАНТ СЕВЕРНЕЕ КАБУЛА

АФГАНИСТАН: ДНЕВНИК РЕПОРТЕРА



Ставка Верховного Главнокомандования Республики Афганистан во главе с Генеральным секретарем ЦК НДПА Наджибуллой была создана по решению Политбюро ЦК партии в ноябре позапрошлого года. Сегодняшнее ее заседание назначено на 8.00 утра в специально отведенном для этого особняке в центре Кабула. Я прибыл туда за тридцать минут до начала. Выстроенный совсем недавно дом сиял свежими красками на утреннем солнце. По садику прогуливались сотрудники службы безопасности. Массивные деревянные двери, ведшие внутрь, были настежь открыты. В холле суетился ветерок. Крутая винтовая лестница вела на второй этаж.

Члены Ставки, включающей в себя политическое и военное руководство страны, начали съезжаться без десяти минут восемь, и вскоре почти все были в сборе: министр государственной безопасности Гулям Фарук Якуби шепотком переговаривался с министром внутренних дел Гулябзой, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенант Шахнаваз Танай сообщал что-то веселое заведующему отделом юстиции и обороны ЦК Олюми. Министр обороны генерал-майор Мохаммад Рафи стоял отдельно от всех, рассматривая свои часы.

Генеральный секретарь Наджибулла прибыл без пяти восемь, и под надзором службы безопасности направился к дверям особняка, на ходу здороваясь с членами Ставки.

Мы проследовали в «г»-образный зал, отделанный темным резным деревом и плиткой под мрамор. Из стены выдвинулась дверь и бесшумно захлопнулась за нашими спинами. Широкие окна были плотно занавешены коричневой материей. Все расселись вокруг массивного стола, покрытого зеленым сукном. Генерал-лейтенант Танай развернул карту и начал свой обычный доклад.

Он говорил о том, что, по имеющимся разведданным, руководство контрреволюции планирует проведение активных боевых действий на севере в непосредственной близости от Кабула. О продолжающихся вооруженных столкновениях близ Джелалабада, где потери сторон за сутки составили 4 человека убитыми, 17 — ранеными. О том, что командование Пакистана перебросило ближе к границе 12-ю пехотную дивизию. Что мятежники обстреляли 8-й погранполк: убитых нет. Что во время выполнения учебного полета столкнулись два афганских истребителя «МИГ-23»: оба пилота остались живы, но сейчас начато расследование. За сутки по всей территории Афганистана военным транспортом перевезено 638 человек и 138 тонн грузов. В районе Рабатак местный житель подорвался на мине. В провинции Кундуз захвачено 5 единиц стрелкового оружия, взято в плен пять мятежников. В районе Морга пакистанский истребитель нарушил воздушное пространство Афганистана и углубился на 14 километров в глубь территории...

— Если это подтвердится,— прервал его доклад Наджибулла, постучав ручкой по разложенной на столе карте,— надо будет срочно сообщить в МИД, чтобы там приняли соответствующие меры.

— Хорошо,— кивнул Танай и, закончив оперативный отчет, перешел к разговору о более общих проблемах, ожидавших, по его мнению, безотлагательного рассмотрения и решения. Он подробно остановился на некоторых из них.

Потом опять слово взял Наджибулла:

— Я разделяю вашу обеспокоенность тем, что ресурсов у нас мало, а нерешенных задач много,— начал он своим мягким, но уверенным голосом,— однако трагедию нам из этого делать не надо. Есть возможности справиться с названными проблемами.— И Наджибулла перечислил все те резервы, которые, на его взгляд, могли бы помочь делу. Он говорил и о более эффективном использовании территориальных войск, и об увеличении призыва в армию, и о многом-многом другом. Вскоре Наджибулла перешел к рассмотрению планировавшейся на завтра совместной советско-афганской операции по высадке десанта севернее Кабула, где скопилось много банд формирований, ушедших из Панджшира.

Заседание Ставки завершилось около десяти утра. Правительственные машины разъехались так же быстро, как и появились, оставив в садике у особняка сизые клубы прогорклых выхлопов. Я сел в поджидавший меня «уазик» и направился в расположение десантной части, которой предстояло завтра участвовать в операции севернее Кабула, о которой только что шла речь. По дороге я прокручивал в памяти состоявшийся на заседании Ставки подробный разговор о военном и политическом положении страны. Иллюзий у этих людей не было...

Подполковник Борисов ставил задачу быстро и лаконично. Он стоял у карты, висевшей на стене светлого, просторного кабинета. Его раскатистый бас вырывался из волевого, грубо очерченного рта. Время от времени он умолкал, что-то обдумывая. До синевы выбритые щеки подполковника напоминали стальной лист, покрытый тонким слоем светло-коричневой эмали.

К карте поочередно подходили офицеры, которых та или иная деталь завтрашнего десантирования касалась непосредственно. Закончив постановку задачи, Борисов сказал:

— Еще раз напоминаю вам о необходимости эвакуировать раненых в положенные сроки, о принципе ретрансляции в случае, если плохо будет работать связь, о том, чтобы взводы не обозначали себя дымами одновременно: иначе вертолеты запутаются. Все лишние разговоры по рации исключить: выходить в эфир с минимумом слов. Помнить о принципах огневой работы в ночное время, об опасности взаимной перестрелки и о том, что все подступы к складам минируются. У меня все. Вопросы?

Их не было. Сделав короткую паузу, Борисов громыхнул:

— Товарищи офицеры!

Все разом поднялись, вытянувшись по струнке.

Борисовское «послесловие» к постановке задачи не было случайным. Все то, о чем напоминал он подчиненным, на первый взгляд, здесь, в кабинете, могло показаться банальным набором прописных истин, но там, на боевых, неизменно оборачивалось успехом или неуспехом всей операции, жизнью или смертью солдат.

Зажатые в блок «духи» обычно пытаются выскочить из окружения ночью. Для этого они проводят разведку боем, простреливая весь район в надежде на то, что наши начнут отвечать все разом и тем самым полностью раскроют систему огня. Я спрашиваю подполковника о возможных контрмерах со стороны советских подразделений.

— В таких случаях,— замечает Борисов,— надо молчать, не поддаваться на провокацию. А работать по противнику должна лишь одна огневая точка.

Очень часто душманы стремятся вызвать взаимную перестрелку между нашими подразделениями. Скажем, перемещаются два взвода параллельными маршрутами, а промеж незаметно засела «духовская» группа наблюдения. Она открывает по одному из них огонь, провоцируя ответный. И если наши солдаты не предупреждены о передвижении соседей, может завязаться перестрелка между обоими взводами.

— Вообще,— глубоко затягивается Борисов, и, кажется, вот-вот на глаза его выступят слезы,— «духи» воюют грамотно. Недаром здесь так много западных советников. У мятежников, как и у наших войск, четко определены зоны ответственности с эшелонированием сил и средств, материальных запасов как по фронту, так и в глубину. Причем базовые склады находятся в труднодоступных районах, которые хорошо охраняются. Там же обычно располагается штаб банды с советническим аппаратом, средствами связи, группой вьючных животных, на которых в случае опасности вывозятся боеприпасы и оружие.

Борисов воюет в Афганистане уже почти два года. Тактику «духов» познал досконально: именно поэтому в его части ни одной потери за прошедший год. Случай уникальный.

Впрочем, говорить о «тактике духов» — значит говорить слишком общо. Ведь у каждой банды своя манера воевать. И, несмотря на единый штаб руководства, свои интересы, свои взгляды на ведение боевых действий.

За годы войны мятежники досконально изучили и нашу тактику, регулярно обобщают данные по командному составу советских и афганских войск.

— Они,— Борисов кивнул в сторону окна, в котором громоздились пепельные горы,— знают назубок все особенности применения нами десанта и ведения боевых действий в горах. При разработке своих операций учитывают все факторы, которые осложняют нашу работу: минимальное число площадок для высадки десантников с вертолетов, сложность поставки в горы боеприпасов, эвакуации раненых и больных, привязанность бронегрупп и артиллерии к определенным районам, невозможность использования огня брони для поддержки десанта, ограниченные запасы воды и продовольствия, малый срок работы АКБ к радиостанциям. От открытого столкновения «духи» отказываются, но ведением сдерживающих засадных действий мешают нашим и афганским войскам быстро и оперативно маневрировать. Таким образом, они зачастую и выигрывают время, чтобы вывести из опасного района свои основные силы, боеприпасы, оружие. Учитывают они и национальный фактор. А совсем недавно мы обнаружили на взятом складе брошюры на дари, в которых обобщен наш же опыт ведения партизанской войны в Белоруссии сорок с гаком лет назад. Словом, хитрые бестии.

Сам Борисов родом из Могилева. В годы войны бабушка его была связной одного из партизанских отрядов. Он до сих пор хорошо помнит ее рассказы. Помнит, как жил с родителями в землянке вплоть до начала пятидесятых. Как носились с мальчишками по израненным белорусским лесам.

— Найдешь гранату,— усмехается Борисов,— бросишь метров на пятнадцать, а сам стоишь: знаешь, что осколки летят не дальше десяти метров. Девчонки от восторга визжали.

Мы говорим о Буйническом поле под Могилевом, где приняли неравный бой подполковник Кутепов, ставший Серпилиным в трилогии «Живые и мертвые», где развеян прах самого Симонова.

Борисов давно не был в родном городе и потому не знает, что две новые пересекающиеся улицы недавно названы именами Кутепова и Симонова. Эти два человека впервые встретились летом 41-го под Могилевом. Теперь произошла их вторая встреча.

— Я, конечно, не сравниваю ту войну с этой,— говорит Борисов, разливая по стаканам чай,— но и здесь трудно. Спасают совершенно не исследованные медиками психологические и физические резервы человеческого организма, начинающие работать в экстремальных условиях. На боевых спишь по два-три часа в сутки на протяжении иной раз и целого месяца, обливаешься пóтом днем, ночью трясешься от холодрыги — и все тебе нипочем. А здесь, в расположении части, секунду на сквозняке посидел — вот уже и простуда.

Борисов встает и на всякий случай прикрывает форточку.

— Но лично мне,— он придвигает ко мне сахарницу,— во сто крат тяжелее выдерживать моральную нагрузку, чем физическую. Легко отвечать за одного себя, но за вверенных тебе солдат — задача посложней. Точно знаю: проще тащить на себе гранатомет, бронежилет и рюкзак под шестьдесят килограммов, чем ответственность за десятки девятнадцатилетних жизней... Вы еще не знакомы? — Борисов кивает на вошедшего в кабинет высокого стройного подполковника лет тридцати — сорока с красно-смуглым тощим лицом.— Это Казанцев, мой замполит. У меня еще прорва дел, так что вами займется он. Не забудьте: время «Ч» перенесено на час раньше.

С первого взгляда Казанцев не производил впечатления человека приветливого. Сощурив левый глаз и прицелившись правым, он спросил:

— Свежачок?

— В каком смысле? — не понял я.

— У нас в части впервые?

Я кивнул.

— Почему ты не выбрал себе другую? — Он спросил так, словно речь шла о женщине, которая нравилась нам обоим.— Если во время десантирования с тобой что случится, с нас звезды долой.— И посмотрел на меня глазами тренера, оценивающего новичка, приведенного в сильную секцию.

— Не волнуйтесь. — Я решил успокоить Казанцева. Ему оставался месяц до замены и под занавес неприятностей он не жаждал.— Со мной все равно ничего не случится.

— Ты гадал у цыганки? — Казанцев усмехнулся правым уголком рта, перекинув папироску в левый.

— Просто послезавтра кончается срок моей командировки.

Через пять минут я понял, что это был самый бредовый ответ из всех возможных в данном случае. Но тогда и ему, и мне он показался более чем убедительным.

Впрочем, в словах Казанцева не было ровным счетом ничего странного и тем более обидного. Будь я в его сапогах, наверняка бы точно так же косо смотрел на прибывшего репортера. И это естественно: если для Борисова я был лишними хлопотами, а для Казанцева незваным гостем, который, как известно, хуже душмана, то для солдат — знаком внимания. Они приняли меня от всей души, угостив вкусным чаем и историями. Словом, я последовал по цепочке: от Борисова к Казанцеву и дальше вниз, пока, наконец, не оказался в каптерке с десантниками Симоновым и Охотниковым. Они выдали мне новенький горный комбинезон, который, правда, потом заменили на старый, потрепанный: в нем солдат менее приметен для «духов», его выгоревшая окраска полностью сливается с цветом гор.



С Симоновым мы моментально находим тему для разговора: он тоже родом из Москвы. БК[1] его вопросов был неиссякаем. В ответ я отстреливался как мог.

За плечами Симонова 43 войны[2]. Через полторы недели ему заменяться, так что завтрашнее десантирование — финал длинной эпопеи. Быть может, поэтому с его задубевшего на солнце и ветре лица не сходит добрая, слабая улыбка. Взгляд светлых глаз ясен и прям, как и сама двадцатилетняя жизнь Симонова. Но если посмотреть в них чуть внимательнее, увидишь такую бесконечную даль, от которой пробежит холодок по коже.

Охотников чуть покоренастей и ниже ростом. Волосы жесткие, упрямые — должно быть, как и характер их владельца. Из-под выдвинутого вперед лба на тебя смотрят глаза человека, который уже прожил всю свою жизнь.

— Вообще-то здесь москвичей не любят,— признался Симонов,— многие из нас начинают «косить» — увиливать от выходов на боевое. Когда я сюда прибыл, от меня ничего хорошего не ждали. Так что с первого же дня пришлось сражаться не только с «духами», но и с таким вот отношением к себе. Правда, из этой схватки я вышел победителем.

Симонов взял иголку с ниткой и начал сноровисто зашивать дырку на своем РД[3]:

— Первые войны,— сказал он, глядя в рюкзак,— были мрачными. Вместе с пóтом начали выходить мамины компоты, лень и даже прежнее отношение к жизни. Помню, уже на десятом километре марша по горной тропе я начал «умирать»: с нулевой отметки пришлось подняться до четырех с половиной тысяч, кислорода не хватало, работал легкими, как рыба жабрами на берегу. Но я не переставал твердить себе под нос: «Нет, парень, ты не упадешь, не упадешь, и все!» И не упал, хотя с молодыми это частенько бывает. Если бы я сдался, кто-то другой должен был бы тащить меня, мои автомат и РД. Так что совесть не позволила «умереть». А совесть, между прочим, это принципы человека.

— Война,— Охотников поскреб ногтем обгоревшую переносицу,— приучает тебя думать о других больше, чем о себе. Даже погибнуть ты не имеешь права, ведь твой труп вынуждены будут нести четверо других ребят, а им и без тебя дел хватает. Когда идешь по горам, обязан смотреть под ноги, чтобы не наступить на мину, не сорваться вниз. Если ты подорвешься, ранит и тех, кто впереди, и тех, кто сзади тебя. Симонов, к слову, единственный из нашего молодого призыва, кто два года назад протопал первую войну от начала до конца. Все остальные «помирали» — сошли с дистанции. Их потом на «вертушках» вывозили. Вместе с нами тогда Морозов поплелся. До Афгана был штангистом — здоровенный такой малый. А «умирать» начал уже на пятом километре.

— Порядочный расхлебай этот Морозов,— перебил Охотникова Симонов,— ночью, когда все спали в горах, он выпил из наших фляг остатки воды. А большей подлости в здешних условиях и не придумаешь.

— Одиночка на войне не стоит ни черта.— Охотников забычковал сигарету о подошву горного ботинка.— Одному, к примеру, по отвесной скале никогда не забраться.- Несколько чело-

[1] БК — боекомплект.

[2] Война — на местном солдатском жаргоне боевые действия.

[3] РД — рюкзак десантника.

век — на манер альпинистов — обвязываются одной «кошкой» и страхуют того, кто карабкается вверх.

— Горы,— Симонов перекусил крепкими зубами нитку и проверил РД на прочность,— учат тебя здраво оценивать свои возможности. Если чувствуешь, что не одолеешь перехода, лучше останься дома, подумай о товарищах. По той же причине у нас не в почете бесшабашная храбрость. Хорошо, если стоит ясная погода и «вертушки» могут забрать раненых и убитых. В случае же тумана или низкой облачности их несут другие.

Охотников бросил мне баночку с черной ваксой.

Я раскрыл ее: от жары гуталин стал почти жидким.

— А вообще-то,— сказал он, следя глазами за тем, как я полирую свои бутсы,— иногда кажется, что, кроме Афганистана, гор и войны, в жизни ничего не было. Ни детства, ни родителей, ни школы. Словно ты родился здесь двадцать лет назад в комплекте с рюкзаком, автоматом и сухпайком.

...Я вышел на плац. Ботинки мои мрачно сияли под луной. Между модулями жались друг к другу сотни полторы плотно набитых рюкзаков. Сколько РД я перевидал за это время! РД, унесенные ветром в ущелья; РД, истерзанные орлами; РД, заиндевевшие и смерзшиеся в высокогорных снегах; РД, истлевшие на солнце; РД, вывороченные внутренностями наружу; РД, прошитые пулями... Но сейчас они были еще невредимы и покорно дожидались пяти утра, когда десантники вскинут их на свои плечи и поволокут в горы. Наш завтрашний маршрут хорошо оседлан: ребята уже не раз ходили по нему. Думая об этом, я привязал бронетюфяк к своему РД и бросил в общую кучу: до завтра!

В офицерской столовой было светло, и меня потянуло на этот свет из сырой кабульской тьмы. Люди готовились к отбою. Но мне спать не хотелось. Я вошел внутрь, не спеша снял промокшую «пакистанку», вообще-то цвета хаки, но от дождя ставшую черной, сел за столик в углу и стал потирать озябшие руки.

— Чего-нибудь горячего? — спросила меня появившаяся в дверях женщина средних лет и, не дожидаясь ответа, налила в стакан дымный рубиновый чай.

Она опять скрылась на кухне, но вскоре вернулась с тарелкой гречки и битков.

— Вот. Проголодались, наверное... Вы — проверяющий? С Ташкента?

— Журналист.

Чего-то недоставало тонким, правильным чертам ее красивого русского лица. То ли время их слегка размыло. То ли творец, когда писал ее портрет, забыл сделать два последних, завершающих мазка.

— Как вас звать — может, я читала?

Я назвался.

— А меня Ольгой Семеновной. Олей.

В дверях показалась вторая официантка. Губы ее были плотно сжаты, точно она держала ими булавку. Официантка исчезла так же незаметно, как и появилась.

— Никогда не пил такой вкусный чай,— солгал я.

— Вы все что ли с этого начинаете?

— Послушайте, какого черта такая женщина, как вы, делает в таком дрянном месте? Вам что — Союза мало?

— У меня сын. Его призвали, и он должен был ехать в Афганистан. Я узнала об этом и тоже пошла в военкомат проситься сюда. Чтобы с ним в одной части быть. Но случилось так, что его отправили служить в Кишинев, а я вот оказалась здесь. Смешно?

— Да уж. Смешнее некуда.

Я отодвинул пустую тарелку и вытер рукавом губы:

— Битки «смерть духам»! Нет, я серьезно, очень вкусно.

— Это хорошо, если вкусно.— Она скользнула глазами по едва различимой в темноте линии горизонта.

— Вы давно здесь? — спросил я.

— Порядочно.

— Трудно приходится?

Она рассмеялась:

— Первые семьдесят лет трудно, потом — легче.

— Это точно. А если серьезно?

— А если серьезно, то очень тяжело. Ведь поначалу никакого комфорта не было. Это сейчас у всех у нас кондиционеры понаставили, холодильники, а тогда...— Она села за стол и зажала ладонями щеки.— Тогда снарядные ящики разбивали и из досок делали себе кровати, этажерки. За день, бывало, так намаешься — ноги подворачиваются.

И она показала как.

— Скажите, Оля, если, конечно, это не секрет, как ваша жизнь до Афганистана складывалась?

Она улыбнулась невесело, лишь губами:

— Не секрет, но давайте лучше об этом не будем. Как-нибудь в другой раз.— Легким поворотом головы Оля откинула назад свои медового цвета волосы.— Я вам только скажу, что от счастья сюда никто не уезжает. Но это я про молодых, что же касается меня, увы, мы счастия не ищем и не от счастия бежим. По-разному тут все у людей складывается. Одна девочка, делопроизводитель, с офицером — большим таким дяденькой — встречалась. Потом поехали они в консульский отдел расписаться. А на обратном пути подорвались. Ее насмерть, а он ранен, остался жить. Вот так...

Оля о чем-то задумалась. О чем?

В окне появилась покрытая плесенью долька мандарина.

— Луна у вас тут не самая аппетитная,— сказал я.

— ...Или вот Вите Курнаусу исполнилось 25 лет. Тощий такой мальчик — ну прямо как велосипед. Попросил он меня стол накрыть двенадцатого числа, а сам ушел на боевые. Приходит двенадцатое, я стол накрыла — сижу жду. Вечер уж, а его все нет. Побежала в его батальон. А мне говорят: «Иди к себе — Витя не придет». Сначала обиделась — не поняла, в чем дело. А потом дошло... Знаете, о смерти тут вам впрямую никто сразу не скажет.

Мы помолчали. Потом я спросил:

— А когда думаете домой возвращаться?

Она посмотрела на меня откуда-то издалека:

— Ох и пристал: ну тебя к богу в рай!

— И все же, скоро или нет?

— Не очень.— Она выпростала изпод стола ноги и, скрестив руки на груди, прошлась взад-вперед по столовой.

— Вы в прошлом спортсменка?

— В очень далеком.— Она чуть улыбнулась.

— Это заметно.

— Заметно, что в очень далеком, или что спортсменка?

Мы рассмеялись, и в дверях опять появилась вторая официантка.

— Да, здоровье тут нужно. Ездила я недавно сдавать одному раненому кровь: у меня редкая группа. А мальчику было тяжело. Ногу ему ампутировали. Он бледный такой лежит. А мне улыбается: «Слушай, тетка! Езжай-ка ты долой отсюда. Не бабья это работа — кровь сдавать». Потом уж увидел, как я в дверях реву, шепнул, тихо так шепнул: «Спасибо вам». А я еще пуще в рев.

Она вернулась, опять сев к столу. Руки у нее были красивые, ногти глянцевые.

— А в Союзе,— вдруг улыбнулась она, посмотрев куда-то сквозь меня,— будем с однополчанами каждый год встречаться. В день ВДВ. Приезжайте и вы.

Выходя, я подумал: «Нет, милая моя Оля, у вас редкая группа не крови, но души».

Я просыпаюсь в четыре тридцать от жалобного мяукания. Чертыхнувшись, зампотех идет на разведку: оказывается, ночью в стенной шкаф пробралась кошка и родила целую роту черных котят.

Он разводит в блюдце молочный порошок и предлагает мамаше:

— Ну, старуха, дала же ты стране угля!

Зампотех выныривает из чулана и включает радио. «Если вы не успели выпить чашечку кофе перед работой,— счастливый голос дикторши разом уничтожает остатки сна,— мы надеемся, что наша передача дала вам заряд бодрости...»

— Чашечку ко-о-офэ! Чашечку ко-о-офэ! — зампотех выдергивает радиопровод из штепселя.— Вам по-турецки? Нет, спасибо,— отвечает он сам себе,— я предпочитаю исключительно по-афгански.

Зампотеха понять можно: в такую рань воду качать еще не начали и потому не то что выпить «чашечку кофе» — глотку смочить нечем. Кран издает утробный звук, хороня надежду побриться. Для приличия все-таки скребу щетину «безопаской».

Через пять минут весь отряд выстраивается на плацу. Утренний теплый ветер играет листом стенной газеты, на котором красным фломастером изображены два пузатых десантника-«пищемета», уничтожающих разом по три сухпайка. В углу подпись: «Родионов энд Лакшин, специальные корреспонденты «Афган Таймс».

Строем мы двигаемся к аэродрому. По ВПП навстречу медленно ползет трактор с установленным на нем под углом к земле турбореактивным двигателем от списанного ИЛ-76 и гигантским топливным баком. Двигатель работает на всю мощь, сдувая с взлетно-посадочной полосы песок, а с нас — панамы.

— Это турбореактивный дворник,— кричит мне Симонов,— голь на выдумку щедра!

— Ничего себе — «голь»! — ору я в ответ.

Мы сбрасываем рюкзаки, ставим в козлы автоматы, усаживаемся на землю, зажатую меж рулежных дорожек. Почти все разом закуриваем. Через пять минут десант окутан густым облаком сигаретного дыма. В нем тонут 192 человека, 192 РД, 384 глаза, 192 панамы, 192 жизни.

Я сижу с Симоновым и Охотниковым. Симонов утверждает, что Калашников сконструировал свой автомат в госпитале, куда он попал после того, как его ранило на тридцатьчетверке.

— Тот первый образец пистолета-пулемета не был принят на вооружение,— спорит Охотников.— Но когда это произошло и АК-47 был утвержден, Калашникову не было и тридцати лет.— Постепенно разговор переходит на то, кто из знаменитостей успел прославиться до тридцати лет. К нам подсаживаются еще двое. Теперь мы обстреливаем друг друга анекдотами.

— Солдат приходит к командарму,— заранее умирает со смеху паренек с сильно забрызганным веснушками лицом,— и просит позволить ему командовать армией в течение одной минуты. Командарм любит демократию и потому соглашается: разрешает солдату сесть на свое место. Тот усаживается, ставит генерала по стойке смирно и говорит: «Я с этой минуты ухожу на месяц в отпуск. Ты остаешься за меня».

Охотников рассказывает анекдот про прапора, у которого все зубы были железными, и потому он всякий раз обжигал в бане язык. К нам подходит сержант из другой роты.

— Ну что, пехота, спички есть? — спрашивает он.

— У нас,— отвечает паренек, рассказавший анекдот про командарма,— есть все, кроме совести и денег,— и протягивает коробок.

— Ты, Петрук,— закуривает сержант,— все шутуешь, как я погляжу. Ничего, в горах юмор с пóтом выйдет. Уж это верняк!

Неподалеку от нас раскачивается на ветру пугало с ржавой каской вместо головы. В его задачу входит борьба с птицами, которые стройными рядами сидят на растопыренных железных руках.

Охотников получше укрепляет на нагрудном кармане гильзу. Это «смертник», содержащий необходимый минимум данных: номер военного билета и войсковой части, фамилия, имя, отчество, год рождения и призыва.

Симонов смотрит на часы:

— Артподготовка закончилась. Пошла — авиационная.

Мы знаем, что уже отработали реактивная артиллерия, "Тюльпаны" и гаубицы, хотя не было слышно ни одного взрыва. Сейчас в воздух поднялись истребители-бомбардировщики — фронтовая авиация. Но даже мощного ФАБовского[1] громыхания не уловить слухом: слишком большая удаленность.

— Разведка-а-а-а! — кричит на весь аэродром круглый человек в летной форме вертолетчиков, кепке с длинным козырьком и блокнотом в руках.— Разведка-а-а-а! Дава-а-ай!

Взвалив на взмокшие спины РД, взяв горячие автоматы, мы забираемся в вертолеты. Они резко отрываются от ВПП и длинной грохочущей стаей мчатся на север. Спереди и сзади нас страхуют «шмели» — вертолеты огневой поддержки. До района высадки десанта ровно 17 минут лету. Они проскакивают, словно секунда. И вот наш вертолет уже завис в нескольких метрах над площадкой, спрятавшейся меж двух рыжих гор. Прыгаем один за другим, придерживая панамы, чтобы их не сорвал ветер. Разбегаемся веером в разные стороны, прячемся за валуны, занимаем круговую оборону.

Все четыре «шмеля» развернулись и работают по соседней высоте, откуда «духи» открыли огонь по одному из вертолетов. От скалы медленно отлетают похожие на рыжий шифер осколки. Самую вершину окутывает облако пыли.

Еще минут десять вертолеты огневой поддержки, сверкая стеклами на солнце, обстреливают из пушек эту и три другие ближайшие высоты: аж в груди зуд.

— Лучше гор могут быть только горы,— цедит сквозь зубы Казанцев.

— Фейерверк устраивают «духи» в честь нашего прилета,— хрипит справа Симонов.

Один из ребят удивленно разглядывает дырку в своей фляге: пуля, пробив борт, на излете прошила и ее. Воды больше нет. Зато есть жизнь.

— Это уже третий звонок мне,— мрачно шутит парень.

Вскоре мы взваливаем на плечи рюкзаки, оружие и, выстроившись в длинную цепочку, начинаем длительный переход. Нам предстоит дойти до высоты, помеченной на карте Казанцева четырьмя циферками: «1945». Наш арткорректировщик определяет расстояние до нее при помощи своего ЛПР[2]. На аппарате зажигается крохотная зеленая точка, и он автоматически, без какого бы то ни было сочувствия сообщает, что протопать нам сегодня надлежит восемь тысяч семьсот метров. Но это по идеальной прямой, а на деле — не меньше двенадцати километров.

— Знаешь, что такое десантник? — спрашивает меня Симонов. Юмор — такой же элемент его экипировки, как рюкзак, панама или горные ботинки.— Десантник целую минуту — орел, а остальные пять суток — лошадь. В нее превращаешься, как только выпрыгиваешь из вертолета. Так что на деле мы не «рэйнджеры ВДВ», а ломовые лошади.

Впереди идут командир взвода, радист и щуплый паренек, который вместе с койкой, должно быть, весит не больше сорока килограммов, но тем не менее тащит на хребте «Утес», рюкзак

[1] ФАБ — фугасная авиационная бомба.
[2] ЛПР — лазерный прибор разведчика.

и еще целый ворох бог весть чего, включая дрова. За ним топают слабые, которые знают, что скоро начнут «умирать». Следом — ребята посильней, готовые в любой момент помочь, взвалив на свои плечи РД и оружие выбившихся из сил. Позади меня — Симонов, Охотников и Казанцев.

— Старые горы — хорошие горы,— Симонов благодарно-удовлетворенно оглядывается вокруг,— они без крутых склонов. А по молодым без «кошки» не пройти.

— В Панджшире горы просто замечательные...— замечает Казанцев.

— Камень! — обрывает его Охотников, из-под ботинок которого выскакивает увесистый булыжник и стремглав несется по тропе вниз. Все впереди идущие шарахаются в стороны.

Мы спустились на самое дно ущелья и теперь карабкаемся по очередному склону. Идти вверх значительно легче, чем вниз: ставишь прочно ногу и выпрямляешь ее. Ставишь и выпрямляешь. А при спуске уже на десятой минуте колени дрожат, как после кошмарного сна. Вдобавок приходится постоянно выбирать место между камней, куда поставить башмак: чуть внимание ослабло, и ты срываешься вниз, увлекая за собой целую лавину булыжников.

— В горах лучше не останавливаться,— Охотников поправляет ремни РД,— после отдыха невозможно задницу отодрать от земли. Такое впечатление, будто за время привала притяжение увеличилось раз в десять как минимум.

Теперь мы топаем по тактическому гребню, десятью метрами ниже горного хребта. Это делает нас менее приметными для «духовских» наблюдателей. С самого момента высадки тебя не оставляет ощущение, что ты взят на невидимый прицел. Впрочем, об этом лучше не думать.

— Что будешь делать после армии?— спрашиваю дыхание и шаги позади себя.

— Пойду в институт.— К дыханию и шагам прибавляется симоновский басок.

— В какой?

— В университет на журналистику. Хочется про Афганистан самому написать. Столько ерунды печатают — иногда тошно делается.

— Только без оскорблений,— предупреждаю я.

— Просто вы пишете одно, а мы видим совершенно другое. Если бы я не читал газет, никогда не узнал бы, что здесь сейчас примирение в самом разгаре.

Мое дыхание постепенно сливается с ритмом ходьбы и позвякиванием автомата.

Что-то хрипит Казанцев, но ветер глушит его слова. Хочется посмотреть назад, в лицо Казанцеву, но оглянуться нет сил: воротник, пропитавшись пóтом, затвердел на ветру и при каждом повороте головы наждаком скоблит натертую шею.

Мы делаем короткий привал. Казанцев протягивает мне флягу с холодным чаем. Сделав порядочный глоток, я возвращаю ее в руки Казанцева — этого редкого мужества, не раз награжденного человека.

— Володя,— говорю я ему,— вот ты замполит. Объясни, что заставляет или, точнее, помогает нашему солдату рисковать своей жизнью здесь, в Афганистане, вдали от родного дома?

— С третьего класса нам говорят про интернационализм. А к десятому он уже здесь,— Казанцев взглядом проводит по вздувшейся синей вене на своей руке,— в крови.

Мы опять идем. Над нашими головами, где-то в бесконечной синей вышине плывет патрульный «сухарь», издавая протяжно-заунывный звук. Такое впечатление, будто кто-то мучительно долго ведет смычком по струне контрабаса. Небесная музыка истребителя-бомбардировщика ложится в моем мозгу на слова Казанцева, которые я все еще перевариваю. Мне, правда, приходилось слышать и иные ответы на тот же вопрос. «Приказ есть приказ»,— отрезал один двадцатитрехлетний лейтенант и спросил: «Разве этого мало?»

— Симонов,— кричит из-за спины Казанцев,— пусти-ка красную ракету. Не то он там в своих заоблачных далях примет нас за караван «духов» и вызовет авиацию.

Симонов мгновенно выполняет приказ.

— Живой камень! Осторожно! — предупреждает Охотников, теперь прыгающий впереди меня. Я успеваю поставить ногу на другой булыжник. Ибрагимов, круглый малый с черным ежиком волос на дынеобразной голове, не расслышал Охотникова и, неудачно ступив, подвернул правую ногу. Оказывается, он уже успел повредить ее, когда прыгал с вертолета часа три назад.

Мы делаем вынужденный привал. Ибрагимов разматывает портянку и массирует щиколотку. Кто-то из усевшихся поблизости ребят включает портативный транзистор. Он болтает и поет на всех языках мира.

...По сообщениям из Мбабане, 19-летний король Мсвати-III устроил в своей загородной резиденции большой прием... Необычное путешествие совершил 40-летний американец Боб Уиленд: он пересек территорию Соединенных Штатов от Калифорнии до Вашингтона на руках... По неподтвержденным пока данным, на перуано-эквадорской границе произошла перестрелка... Газете «Чикаго трибюн» стало известно, что базирующиеся на территории Пакистана бандформирования афганских мятежников получили по каналам ЦРУ очередную партию современных зенитных установок «Стингер»... Где-то навалило на 20 футов снегу...

Ибрагимов, зашнуровав ботинок, делает пробный шаг, второй, третий... Идти можно. Подполковник Казанцев взваливает себе на спину его РД и автомат.

— Эх, Ибрагимов, Ибрагимов,— нараспев говорит Казанцев,— нашел ты себе Санчо Панса. Невоспитанный ты человек, Ибрагимов.

Тот, виновато улыбаясь, медленно ковыляет впереди.

— Ну ничего, Ибрагимов, гульбиддин твою афгана степь,— декламирует Казанцев,— вот сколько влезет в твой РД бутылок лимонаду, столько ты мне и поставишь, когда вернемся в расположение. А не поставишь, так вечным позором покроешь свое имя, Ибрагимов. И косо будут смотреть на тебя товарищи по оружию. Верно, Симонов?

— Верняк,— отзывается тот.

Но вскоре все разговоры стихают. Силы на исходе, а топать еще целую вечность.

Проходим «духовские» бойницы и остроконечные туры, выложенные камнями в седловинах промеж гор.

Похоже, у нас появилось второе дыхание. Впрочем, до высоты «1945» остается не более семи тысяч метров. Но Ибрагимов идти дальше не может. Он садится на обочину тропы — на сей раз окончательно и бесповоротно.

— Эх, Ибрагимов,— Казанцев сбрасывает с себя его РД и АКМ,— придется вывозить тебя на «вертушке».

Минут через пятьдесят на этой же площадке собираются все, кто не в состоянии одолеть последние километры.

Мы сидим и ждем обещанных МИ-8. У кого-то отрывается ремень рюкзака, и РД стремглав падает в ущелье.

— Да,— комментирует Симонов,— не вовремя автоотцеп сработал.

Вялый смех.

Ко мне подсаживается Олег Гонцов. Он спрашивает, глядя себе под ноги:

— Когда в Москву?

— Через неделю.

— Охота?

— Пока нет,— говорю я, чувствуя, что чего-то в Афганистане еще недочерпал.

— И мне нет.

Олег уже отвоевал здесь с 80-го по 82-й. Дембильнулся. Уехал в Союз. Но потом пожалел. Пришел в военкомат и попросился обратно. Так оказался он здесь вторично. В октябре прошлого года Гонцов женился. Свадьбу сыграли в Кабуле.

— Друзей здесь моих много. Кто служит. Кто лежит.— И он гладит широкой ладонью землю.— Понимаешь, не могу я вернуться обратно в мир. Пробовал — не получается.

На горизонте появляется несколько точек. Минут через семь они превращаются в одну «пчелку» и два вертолета огневой поддержки.

— Давайте дымы,— кричит Казанцев.

Мы карабкаемся по склону наверх, чтобы освободить площадку для МИ-8. Один из нас остается внизу: из его руки валит густой оранжевый дым, постепенно вытягивающийся по ветру в длинную ленту. Вертолет садится, «шмели» барражируют над головами. Мы с Казанцевым помогаем Ибрагимову и трем другим десантникам забраться внутрь.

Вертолет отрывается от площадки и в сопровождении двух «шмелей» берет курс на Кабул...

Так прошел первый день из тех пяти, что длилась операция. И каждый новый не был похож на предыдущий. Отряд десантников одолел за этот временной промежуток сто километров с гаком. Лица солдат еще больше почернели от пыли и солнца. Выдержав два боя, взяв уйму трофейного оружия и форсировав серую реку, точное название которой ведомо лишь ей одной, десант на пятые сутки воротился верхом на броне домой — в Кабул.

...Перед самым отъездом из расположения части ко мне подошел Слава Белоус:

— Будет свободный час, постарайся заскочить в госпиталь к Андрею Макаренко. Передай от нас привет. Ладно?

Говорят, один и тот же человек не погибает дважды. Но это — лишь говорят. Прапорщик Андрей Макаренко в один день погибал трижды.

30 ноября прошлого года подорвался в результате диверсии транспортник АН-12, летевший из Кабула в Джелалабад.

— Нашу часть,— говорит Макаренко, громыхнув аппаратом Илизарова,— бросили искать останки людей и «черный ящик». Во взводе было много молодых солдат, только что прибывших в Афган, и я пошел по тропе первым...

Пошел первым, чтобы в случае минного поля ступить на него прежде новичков. Саперов не захватили, и Макаренко, вытащив шомпол из АКМ, начал сам прощупывать им землю.

— Мой ангел-хранитель,— улыбается Андрей,— праздный малый, а в тот день нес сторожевую службу и подавно плохо. Взрыв подбросил меня, а когда я упал, то левой ноги ниже колена не было.

Боль окатила его целиком через несколько секунд, показавшихся часом.

— Лицу вдруг стало холодно, но мозг продолжал работать как часы.

Я представляю его сидящим на каменистой пыльной тропе в луже крови, впитывающейся в землю, и вижу, как мертвенная бледность тонкой целлофановой пленкой покрывает лицо Андрея. Физически ощущаю режущую боль в левой ноге ниже колена.

— Сознание я не терял, а солдатам приказал оставаться на своих местах, не двигаться. Было ясно, сижу на минном поле.

Ему бросили резиновый жгут. Он перетянул им ногу, забинтовал ее, а потом вколол два промедола. Прошло еще достаточно времени, прежде чем подоспели саперы. Они прочистили коридор к Макаренко, и четверо десантников, уложив его на плащ-палатку, начали выносить.

— Ну, думаю, все самое опасное позади,— два раза не умирать! Слава богу, что так обошлось. Могло бы осколками посечь солдат.

Но тут один из них сделал неверный шаг в сторону: взрыв. Еще более сильный, чем первый. Макаренко перебило вторую ногу, правую, крутанув ее вокруг оси ниже колена. Семь ребят упали — все тяжело ранены.

— Мозг мой продолжает работать,— говорит Макаренко,— не отключается.

Да, думаю я, слабому было бы легче: потеря сознания — тоже своего рода общий наркоз, позволяющий забыться, спрятаться от боли.

— Вскоре всех нас погрузили на «вертушку». Ко мне подсоединили капельницу в полиэтиленовом мешочке. Лежали мы не на носилках, а на днище — так удобней. Взлетели. Набрали высоту.

Но вдруг вертолет несколько раз дернулся и начал медленно валиться вниз: кончилось горючее.

Смерть атаковала Макаренко в третий раз.

— Тут из кабины вышел летчик-штурман. Я крикнул ему: «Послушайте, что там у вас происходит? Мы же падаем!» В ответ он пристегнул парашют к подвесной системе и спокойно сказал: «Нет никаких причин для беспокойства, товарищи. Полет проходит нормально». Деловито поправив защитный шлем, он открыл дверь и прыгнул за борт.

Макаренко глянул в иллюминатор — земля мчалась навстречу с распростертыми объятиями, обещая мгновенное избавление от боли. Вслед за штурманом из вертолета выпрыгнул борттехник. Он, правда, сделал это молча, не глядя на раненых.

Ребята лежали и тихо стонали. Макаренко подполз к подвесной системе. Попытался дотянуться до парашюта, не смог, оборвал капельницу. Сквозь бинты сочилась кровь, стекая в сторону носа «вертушки»: машина падала под углом к земле. Парашют свалился с сиденья. Он проехал по днищу, разбрызгав по лицам кровь. Макаренко проводил его взглядом и вдруг вспомнил: без двух ног все равно не прыгнешь.

— Поняв это, я лег на спину и плюнул на все. Мне вдруг стало безразлично, что будет дальше. Какое-то спокойствие вошло в меня. Я даже разглядел надпись, выцарапанную кем-то слева от двери.

Один из раненых ослабил ворот и тихо сказал: «Сейчас третий смотается, и вообще кранты настанут». Но командир экипажа капитан Смирнов не выпрыгнул. Он включил аккумуляторы, продолжавшие хоть как-то вращать винт.

У десантников есть такой прием: чтобы ослабить удар, перед самым касанием земли натягиваешь на себя стропы парашюта. Аналогично поступил и Смирнов. За секунду до того, как вертолет должен был врезаться в сопку, капитан нажал «шаг-газ» и сгладил удар.

Макаренко отворачивает лицо и глядит влево, за меня. Я тоже оборачиваюсь, но, видя лишь голую стену госпитальной палаты, понимаю: он смотрит в 30 ноября. Мне хочется расспросить его о бортмеханике и летчике-штурмане. Известно лишь то, что они сохранили себе жизнь, но потеряли армию. И не решаюсь: иные душевные ранения причиняют больше боли, нежели физические. Эпизод с двумя вертолетчиками до сих пор кровоточит в памяти Макаренко. Как рана человека, кровь которого не сворачивается.

— Как думаешь,— Андрей проводит ногтем по аппарату Илизарова на правой ноге,— я смогу вернуться в ВДВ? Смогу прыгать?

— Конечно,— отвечаю ему.

Но ни он мне, ни я себе не верим.

Вскоре я прощаюсь с этим человеком, погибавшим трижды. Крепко жму его холодную руку и направляюсь к выходу.



СВЕТОТЕНЬ

ПОРТРЕТ С ТРУБКОЙ

Юрий РОСТ

«Алексей Борисович Федоров сделал за свою жизнь 30 тысяч трубок, и нет среди них двух одинаковых»,— говорю я друзьям, а они сомневаются. Ну, 30 тысяч можно допустить, но чтобы все разные? И тогда я рассказываю, как однажды вбежал к Федорову человек, небольшого роста, энергичный, и с порога, не здороваясь, заговорил, протягивая мастеру трубку: «Вы посмотрите, какая у нее шея! Какая божественная шея! Ваша трубка. В кармане носил, сломал мундштук, а надо подарить хорошему человеку». И Алексей Борисович начал делать «такой же» мундштук и... не смог повторить себя. Александр Петрович Довженко (это был он) смотрел недоверчиво и с восторгом: «Неужели не можете сделать копию? Это прекрасно!» И ушел с трубкой, которая стала хуже или лучше прежней, но другой. «Трубки твои, Алексей Борисович, теплые, и хамства в них нет»,— говорил Федорову Алексей Николаевич Толстой, любитель и знаток этого вида искусства. Хамством он называл нарушение гармонии в трубке, отсутствие в ней пропорций, культуры. Жорж Сименон, не меньший ценитель трубок, писал Федорову: «В ваших трубках есть неповторимая индивидуальность...» В Ленинграде в лавке художника многие видели короткую федоровскую трубку по имени «Мегрэ»...

Много раз я пытался описать друзьям, как Федоров работает, но мне это не удалось сделать. Говорю: «Он берет кусок дерева и смотрит на него. Смотрит до тех пор, пока дерево само не подскажет... Первая обточка. И ты уже видишь, как побегут линии дальше. Но чуть отвернулся от федоровских рук, возвратился взглядом, замечаешь, что совсем иная вещь у него выйдет. Вот только чашку от трубки он держит, к ней можно тысячи разных мундштуков выточить, но лишь один сделает чашку трубкой... Это и есть вкус, чувство меры, искусство». Нет, не передать то, что я видел.

Легче вспоминать и пересказывать, что слышал от него. «Дайте Ноздреву легкую голландскую трубку, разве это будет Ноздрев?» Один известный журналист попросил в письме сделать ему трубку. Алексей Борисович сделал, но тут же забраковал работу. Объясняет мне: «Он оказался невысок, плешив и подвижен. А я ему чуть не придал монументальность... Возьмет он в зубы трубку, а она подчеркнет его рост и лысину, вроде бы человек пыжится». Как-то я зашел к нему в мастерскую с другом. Когда друг ушел, Федоров сказал: «Любопытно ему трубку сделать. Бородка рыжая клином, глаза словно на ниточках, озорные, сам плотный такой, урбанизированный сатир...» В другой раз он сделал трубку молодому человеку и расстроился, узнав, что он женат. «Теперь из-за меня семья может развалиться»,— грустно пошутил он. Трубка была «холостая» — легкая, с форсом, с изыском.

Свою первую трубку он выточил из бильярдного шара. Потом каких только ни делал: костяные, грушевые, вишневые, платановые, амарантовые, фисташковые, эбеновые, буковые, трубки из экзотических пород дерева и обыкновенного кукурузного початка... А все-таки лучшего материала, чем корень древовидного вереска «бриар», не видел. Он замечательно красив своими путанными рисунками, крепок, легок, не боится высоких температур, его не надо выстилать внутри пенковой крошкой для вкуса... Но редко он попадает к мастеру.

...Наши разговоры всегда кончались тем, что Алексей Борисович снимал со стены свою семиструнную: «Все как прежде, и та же гитара шаг за шагом ведет за собой. В такт аккордам мелодии старой...» Стара была мелодия, стара гитара, и человек немолод — под восемьдесят, но голос удивительный, чистый, сильный, без грусти.

Владимир ПОМЕРАНЦЕВ

РАССКАЗ

«НЕТ, НЕТ, ПО ДОРОГЕ ТАМОЖЕННИКИ...»

Учился он на богословском, но от религиозных исканий был очень далек и не думал над тем, как связать преходящее с вечным. Хотя он и сказал мне, что «нельзя отнимать упование и портить людям их старость», но его самого небеса мало заботили.

От прошлого остались у него только одежда, черная, старомодная, изрядно поношенная,— и одиночество... Готовясь к священству, он не мог обзаводиться семьей. «Ну, а позже,— объяснил он мне,— слепота испарилась, а деньги уже не пришли!» Он считал, что для любви нужно затмение, которое проходит с годами, а для брака — постоянный достаток. Жалованье корректора не могло обеспечить безбедную жизнь для семьи, а бедность он считал унизительной и видел в ней основную причину неустройства в семьях и в обществе. Последнее весьма занимало его, хотя он уже давно проводил свою жизнь вдали от всяких общественных дел.

Я не встречал человека, который был бы в такой мере беспомощным и в рассуждениях о государственной деятельности, но столько о ней размышлял. И размышлял так для меня непривычно, что я просто терялся. Его слова невозможно было оспаривать — их нельзя было ни принять, ни отвергнуть.

Но сначала надо сказать о поселке, в котором он жил, и горах, окружавших поселок. Вероятно, именно горы еще с детства настраивали его на задумчивый лад и давали смотреть на мир отрешенней и проще, чем смотрят на него изощренные люди в многокнижных больших городах. К тому же под горами простирались луга, и он видел, как увесисто вымя у симментальских коров. Это навсегда определило его убеждение в том, что при лучшем устройстве дел на земле каждому придется на завтрак булка и кувшин молока. В деревне не было шумов, не скрежетало железо, не гудели моторы, он мог слушать пение птиц и дыхание ветра в листве. Горы усилили его зрение, а стрекот кузнечиков утончил его слух. Это было хорошо, но и плохо. Взбираясь на самые выси, он видел далеко-далеко, но предметы в этой дали казались меньше, чем были... Под влиянием чистых звуков природы его мысли делались тоже бесхитростными, но их строй был слишком ясным для путаной жизни вокруг.

Я встретился с ним, когда он был уже стариком, а его родная деревня давно перестала быть затерянным местом, лишилась прежней тишины и обозначилась на дорожных картах страны. Сам он тоже провел за это время ряд лет вне деревни. Учился три года в столице своего государства, где каменные монархи и полководцы соседствуют с манекенами модных витрин, а через площади нетерпеливо проносятся толпы пресыщенных и нелюбопытных туристов. Побывал в соседнем большом государстве, где газеты и книги писались на его языке, но их неспокойный дух был чужим. Осмотрел также страну озер, конференций, сыров и часов. Дважды ездил и на прельстительный юг, к развалинам древности, теплому морю и святому престолу. Это море было единственным, которое он видал в своей жизни. Оно навсегда поразило его и укрепило в уверенности, что природе противно разделять человечество и делают это только политики, не умеющие отказаться от прошлого и строить историю заново. Он говорил мне, что, сидя у Средиземного моря, не понимал, зачем его деды тиранили итальянские княжества и почему итальянцы перебирались через это дивное море, чтобы тоже найти себе над кем потиранствовать.

Но не это простодушие привлекало меня в старике. Иначе я не провел бы с ним целые сутки, вырванные из двенадцати считанных...

Рисунки Левона ХАЧАТРЯНА

Те, кому сегодня пятьдесят и побольше, наверняка помнят статью Вл. Померанцева «Об искренности в литературе», напечатанную в «Новом мире» в 1953 году. Это был взрыв бомбы, откровение. А говорил автор всего-то о том, что писать надо честно, что жизнь, мол, такая, а литература об этой жизни совсем другая, украшающая и упрощающая, намеренно-выборочная.

Статью все читали, все знали, восторгались, и одно это, несомненно, доказывало, что в обществе творят добрые нормальные силы, художники, полные смелости, самоотверженности, ответственности.

Владимир Михайлович Померанцев стал необычайно знаменит. А человек он был скромнейший. Он родился и вырос в Иркутске, в интеллигентной семье, хорошо знал немецкий, и это пригодилось ему позже, когда он работал над переводами. У него было юридическое образование, кроме того, он много отдал журналистике, газете.



Право на статью об искренности в литературе он, несомненно, заслужил своим собственным творчеством: писал всегда просто, умно, ново. Он не повторял других, а искал свое, был собою — сдержанным, точным, оригинальным. Он работал в послевоенном Берлине, писал об этом.

Вл. Померанцев был интересным рассказчиком. У него вышло несколько книг, но многое осталось ненапечатанным, поскольку та перестройка в литературе, к которой призывал в 1953 году Померанцев, вскоре, как мы знаем, оборвалась на полуслове. Вот уже много лет писателя нет с нами, а рассказы и другие его произведения все еще ждут своего часа.

Сегодня «Огонек» предлагает читателям один из неизвестных рассказов Померанцева. Я прочел его с большим интересом.

Михаил РОЩИН

Впервые я заметил его как-то утром из окна моей комнаты, выходившего на малолюдный бульвар. Он сидел на скамейке. Возле него лежали покупки. Потом стал замечать каждый день. В той же позе, с теми же свертками. Он всматривался вдаль, упорно ожидая кого-то.

Однажды я увидел его повеселевшим, дождавшимся. Он играл с мальчиком лет трех-четырех. Запускал с ним грузовик и самолет, кормил его сладостями. Я почувствовал, что у человека этого холодная старость, а ребенок — теплый и редкостный лучик в ней... Но потом подошла какая-то женщина, взяла мальчика за руку и указала старику на часы. Тот сразу сжался. Посидел еще две минутки и тихо поплелся... Лица я его не видал, но выскочил из дому и бросился вслед.

— Вы забыли на скамейке,— подал я ему исполинский цветной карандаш, какие выставляют в витринах.

— Спасибо,— поблагодарил он,— это ребенок забыл. Какая жалость! Вспомнит и плакать начнет. А вы, вероятно, приезжий?

— Да, на днях приехал, на днях уезжаю.

— Может быть, я могу быть полезен? Знаю здесь не только каждое здание, но каждый камень, каждую доску. О, не подумайте,— покраснел он,— я не гид, не ищу... Нет, нет, у меня свой бюджет... Просто рад буду случаю... Были вы в замке и парке Хеллбрун? А Бишофштадт видели? Это старейший епископат нашей страны.

— Вы очень любезны,— сказал я,— но не хочу быть вам в тягость...

— Что вы, что вы! Наоборот! И не пешком. У меня есть машина. Даже очень лихая на вид.

Я удивился. Старик выглядел жалким. Но на стоянке его действительно ждал двухместный спортивный «баварец» с узким капотом и продолговатым хвостом.

— Мне подарили его исковерканным. Точнее, бросили в нескольких шагах от меня. Он дважды перевернулся. Это случилось в три часа ночи, когда я вышел на крыльцо подышать. Владелец машины был без сознания. Я внес его в дом и поднял тревогу. Санитарный самолет умчал его потом в Мюнхен... Полиция запросила, что делать с разбитой машиной. Он велел отдать ее старику, оказавшему ему первую помощь. Я отказывался. В жизни не сидел за рулем, да и не было средств на ремонт. Но мне починили на выплату, научили водить... И вот уже пятый год. Конечно, прытка она теперь только по облику, по резвости мне и не нужно...

Он повез меня осматривать церкви. Древние и новостроящиеся. Они были из разных миров. Сегодня архитектуру церквей определяли сталь, бетон и стекло.

— Деловито,— сказал я.— Словно отели.

— Хотят вызволить религиозную жизнь из барокко. Осовременить!

— И помогает? — спросил я.

— Христос — не политик,— ответил он.— Можно не опасаться, что он вскочит и выкинет какую-нибудь неприятную штуку. Симпатии к нему потому и держатся.

Я улыбнулся.

— Знаю,— сказал он,— что вам все здесь кажется прошлым. Но это не так. Ведь держится магия литературы, театра, кино. Почему же ее лишится религия? Тем более что у нее свои преимущества. Христос — эсперанто, родник на дороге, коллективная собственность. Он, словно погода, всегда может быть темой и для незнакомых людей. Он еще и вечная молодость. Да, да, не удивляйтесь. Ведь главное в молодости — это ожидание, надежды, уверенность. Ведь кто еще, кроме Бога, позволяет надеяться в семьдесят лет? Где еще, кроме как в церкви, седой человек именуется сыном?.. Нет, строители вряд ли прогадывают. Посетители в этих зданиях будут.

Чувствовалось, что старик много думал над тем, что сейчас говорил. И говорил совсем не как старец, годный уже только на то, чтобы забавлять четырехлетнего мальчика.

— Смотрите,— сказал он, показывая мне «епископский город» с его множеством зданий, колоколен и башен, расположенных под лесистой горой и на самой горе в удивительно стройном, торжественном и живописном единстве.— Разве это мертво? Здесь готовятся пастыри, миссионеры, создается церковная музыка. Этот город называется поющим, звучащим. И здесь разрабатывается церковная мысль. Вовсе не погребенная. Она постоянно недовольна собой, спорит с собой и потому останется жить. Будь у нее только поборники, она угасла бы. Но в ее среде есть возмутители, и, значит, она еще поживет... Вы скажете, что это приспособление к веку, к науке. Нет, к науке не приспособиться. Та давно разобрала, разнесла все по косточкам. Но развеянный Бог остается. Остается, хотя не только наука, но самая жизнь опровергает его добродетели. Очевидно, значение здесь не в его совершенстве, а в том, что без него было бы скучней и беднее.

И помолчав, сказал:

— А, вернее всего, человеку просто не хочется оставаться один на один с земляными червями...

— Простите,— решился я на прямолинейный вопрос,— а вы лично как смотрите?

— Я занят другим,— ответил он неясно, но просто.— Хотите поехать ко мне? Это недалеко. Попадете в редкое место. Здесь всюду красиво, но в нашей деревне!.. Я там родился...

— Разве вы живете не в городе?

— В получасе езды. Если не захотите там ночевать, вернетесь автобусом. Но вы захотите. Наверняка захотите.

Мы ехали действительно по чудесным местам. Однако деревень, в моем о них представлении, я по пути не видал.

— Их и нет,— объяснил он.— Старые крестьянские дома исчезают. Бедные люди распродали свои клочочки земли и стали работать на фабриках, а зажиточные строят виллы, коттеджи... И самые деревни не те. В них теперь рудники, лыжная станция, курортики и отели, отели... Трудно найти уже в нашей округе прежний двор, коптильню, старую мебель...

— А я в самом городе живу в прошлом веке.

— У вашей хозяйки нет, очевидно, детей. У кого они есть — тем диктуется новое. Ведь нынешняя молодежь — это телевизор и спорт. Все, что было до магнитофонного века,— на свалку. Родители едва успевают выбрасывать. Монументальная дубовая мебель сжигается в топках, а кресла из полочек пенопласта и щепок — в цене.

— А ваш вкус? Что предпочитаете вы?

— Я не богач,— улыбнулся он,— чтобы иметь право на вкус. У тех — люстры, мебель, ниши, камины. Все сделано на собственный лад. А у бедности только один стиль. Он называется бедностью. Но мне и не надо. Я занят другим...

Он привез меня в крохотный и почти ничем не обставленный домик, на пороге которого к нему радостно бросилась навстречу собака. Она обнимала его передними лапами, старалась лизнуть, визжала, стонала, задыхалась от чувств. Он был явно растроган.

— Не стареет. Девять лет уже ей, а не стареет.

— Да,— равнодушно заметил я,— очень бойка еще.

— Нет, я не о бойкости, а о душе ее. Вот сам я уже не могу радоваться так полно, всецело. У меня уже не радости, а утешения. Все умиряется сознанием временности... А она, увидев меня, все забывает... Ну, раздевайтесь, садитесь... Сейчас я молочную овсянку сварю. К сожалению, ничего больше нет. Или могу проводить в ресторан. Еще лучше в пансионатах. Их тут десяток. А я — по-холостяцки, по-старчески. Один ведь живу...

— А ребенок? — спросил я.— С которым вы на бульваре играете. Он разве не внук ваш?

— Он внук моего покойного брата. Но племянник оставил жену. И та не хочет, чтобы мальчуган со мной виделся... А я немножко привязан. Ловлю иногда, когда его выводят гулять.

— Почему же она так жестока?

— Она вправе не считать меня родственником. К тому же предубеждена против меня не только она. Здесь тоже есть многие... Не исключая друзей, построивших мне этот домик. Он из шлакобетона. Когда-то своими руками помогали мне его засыпать, а теперь избегают встречаться...

— Почему? — удивился я.— Что вы им сделали?

— Ничего я не сделал. Просто считают меня... непозволительно странным.

— Я никаких странностей не замечаю за вами.

— Да... А они вот пытались даже...

Он оборвал себя.

— Что? — спросил я.

— Ничего. Не стоит рассказывать.

Старик не захотел, чтобы я накормил его в ресторане, пойти туда одному мне было неловко, и мы пообедали дома — овсянкой да яблочным муссом, который он сварил из брикетика. Этот обед дал понять, какую долю бюджета поглощали у старика дорогие игрушки и шоколадные бомбы, которыми он оплачивал мимолетные встречи с ребенком.

Он угадал мою мысль и сказал:

— Бедность бедности рознь... У меня автомобиль, собственный дом... Что еще надо?..

И тихо добавил:

— Старость плоха не нуждой. Она плоха тем, что некому гостеприимство оказывать... Дело не в том, что у меня обломки зубов. С пустым ртом можно смириться. Старость — когда почтовый ящик пустой...

И спохватился:

— Что я вам говорю! Зачем так долго в своей халупе держу! Ведь не за этим привез вас сюда. Идемте. Идемте вкушать.

Я по себе знаю, как скучны бывают долгие описания пейзажей, ландшафтов. Никакая красочность не может смирить с ними, если они слишком затягиваются. Не буду поэтому говорить об удивительной местности, совершенно заколдовавшей меня... Скажу лишь, что открывшаяся передо мной панорама была грандиозной. Мы без труда поднимались по одной из проложенных в горах дорог, оставляя за собой леса, плато, водопады, бившиеся внизу с плотины, высеченные в скалах старинные замки и грациозных косуль. Когда я оглядывался, подо мной простирались равнины, усыпанные коттеджами разных цветов, и озера, вокруг которых толпились отели. Солнце палило, до заката было еще далеко, и в синем золоте света эта картина казалась рисованной. Горы вздымались величественно, но в этой величественности не было горной суровости, как не было в пестрых красках равнины легкомыслия рук человеческих: чудилось, будто коттеджи не выстроены, а накапаны сверху.

Я был зачарован. Не хотелось ни думать, ни раз-

говаривать, только смотреть. Дышать и смотреть... Теперь, вспоминая, я спрашиваю себя, что именно тут завораживало. В том ли был неразгаданный этот секрет, что люди не трогали гор и не кроили равнины, ничего не ломали, не переделывали?..

Или в том, что они скрыли от глаз турбины и оставили взору только бушующие каскады воды? А может быть, чародейству еще помогало беззвучие? Ведь для этого нужна тишина... А люди, сколько бы их ни приезжало сюда, рассеиваются между землею и небом, делаясь друг другу неслышны.

Мой спутник сказал мне, что я нахожусь сейчас в самой высокогорной и холодной части страны. Возможно, что так. Но в пальмовом ландшафте было бы меньше волшебства. И мне здесь было тепло. Даже когда начало уже вечереть.

Старик спросил, возвращусь ли я в город или пойду в какой-нибудь отель ночевать. «А может быть,— предложил он неуверенно,— вы окажете честь... У меня есть раскладушка». Но я ощутил, что мне нигде нельзя спать, нельзя терять этой ночи.

Он был доволен, что я так покорен его местностью.

— Мне это на руку. У меня бессонница старости. Подышим в горах. Потом искупаетесь в озере... Но, знаете, как рассердятся на меня владельцы отелей. Здесь ведь борьба за ночующих. И каждая ночующая единица учитывается. Для статистики и проставления места. В нашей провинции больше сотни курортов, и они между собой конкурируют. А вы ускользаете. Увидят меня с вами бродящим и опять заговорят обо мне...

— А что было поводом для предыдущих разговоров о вас?

— О, многое, разное. Длинный ряд слов и поступков. Вся моя зрелая жизнь. Не перечислишь... И живу теперь в своем родном месте, как в поле отчуждения.

— Вот даже как?! Это уже любопытно. С чего же это у вас началось?

— Трудно сказать. Началось, пожалуй, с того, что я не кончил учения. Ушел перед последним семестром. Тогда подивились, укоряли, внушали, понаделали выводов. А через много лет и это припомнили. Уже с молодости-де был не как все... А богословие бросил я потому, что встретилась девушка... До нее я не верил, не думал, что это бывает цепко, как в книгах... А она не вышла потом за меня... «В сутане,— сказал мне мой несостоявшийся тесть,— вы не могли стать ее мужем, а без сутаны вам не на что будет ее содержать»... И действительно, я никому потом не стал нужен без диплома, без средств, без специальности...

— Да... Ну, а что было дальше?

— Дальше в столицу приехал промышленник, владелец рудника, который начали у нас тогда разрабатывать. Горный инженер, сын разбогатевших крестьян. Предложил мне, односельчанину, получившему образование в городе, выполнять там его поручения... И вот шел я однажды по Рингу. Автомобили, коляски, роскошные женщины, аксельбанты, панамы... И вдруг навстречу мне советник коммерции, к которому у меня было деловое письмо. Я остановил его, протянул письмо. Он рассеянно оглядел меня, не принял конверта, сунул мне в руку полкроны... Я побежал за ним, пытался ему объяснить, но он не стал меня слушать, пригрозил полицейским и вскочил в проезжавший фиакр. Это видели люди... Я бросил монету на мостовую и чуть не заплакал... Мне было тогда двадцать четыре и ложного самолюбия хоть отбавляй... В тот же вечер уехал... Решил, что нарядные улицы хороши для того, кто наряден и сам... Родные, конечно, встретили с гневом. Ведь мало того, что оставил учение, отказался от будущего, так бросил еще и хорошую службу... Я стал для них чудаком, своеумом.

— И остались жить дома?

— Да, тогда здесь была просто деревня. Это сегодня у нас курорт, автострада, тенты на озере, а в то время отец лошадь не выпускал, чтобы не растеряла навоз. На свиней надевали квадратные обручи, чтобы в огороды не лезли. Девушки наряжались только для церкви. Нынче они стали такими, что нет нужды быть с ними робким, а раньше они в каждом поцелуе своем исповедовались. Молодому человеку тут было тоскливо. К тому же я от крестьянской работы отвык, к книгам тянулся. А главное, не по мне было скопидомство, жадность. У отца было двадцать пять моргенов, но он выговаривал мне, что я жег много света... Эти люди, даже умирая, не переставали считать деньги. Мой дядя складывал руки на груди крестом, чтобы по-христиански встретить смерть, если она нагрянет во сне, и вычитывал с работников за поломку пилы, за разбитую миску... Я не понимал этих людей, а они не понимали меня. И отношения вовсе испортились, когда я посоветовал дяде раздать часть своего состояния, чтобы сделать добывание денег осмысленней. Я стал объяснять, что довольство должно быть ограниченным, ибо иначе оно неощутимо безрадостно и перестает быть настоящим довольством. «Хорошо,— сказал он,— я ограничиваю свое состояние. Вот тебе двадцать крон — и уезжай из деревни, чтобы мы не видели тебя»... Проводил меня общий хохот... После этого я работал в разное время корректором, протоколистом суда, сборщиком податей... И всюду принужден был оставлять свое место, так как обнаруживал странности...

— Какие? В чем они сказывались? Ну за что, например, вас сняли с должности протоколиста суда? Ведь вы, несомненно, записывали обстоятельно, точно...

— Да, но я не умел только записывать. Не умел не думать при этом. В суде царит привычная здравость. Вековечная здравость. А она давно уж не здрава... Денежный штраф, принудительные работы, тюрьма... Я увидел, как все это бесполезно, беспомощно. Особенно тюрьмы. Нельзя сводить всех плохих людей в одно место и думать, что от этого они станут хорошими. Я говорил это судьям. Они отмалчивались или вяло оспаривали. Я им мешал быть довольными своими почетными должностями, сложившейся жизнью...

Однажды судилась владелица большого отеля. Горничных била... Месяц тюрьмы или денежный штраф... Она заплатила его и выгнала жалобщиц... Тут я понял, что требовалось совершенно иное — заставить ее провести в другом отеле год или два в качестве горничной... Мне сказали, что такого в законодательстве нет, что я надоел...

— Да... А за что вас уволили из налоговых органов?

— Не уволили,— улыбнулся он,— из податной инспекции я ушел сам. Ведь ненужный, бессмысленный труд очень тягостен. Я увидел, что доходы налогоплательщиков, особенно государственных служащих, неизменны годами, и подумал: зачем исчислять и собирать с них налог, когда проще снизить на эту долю зарплату... Моих сослуживцев эта мысль испугала — они могли бы остаться без службы. Просили меня замолчать... Но сам я уже не мог оставаться там... Всегда нужен смысл... Знаете, чем плоха старость? Выйдешь на улицу, и нет цели хождения... Хорошо, если надо к сапожнику, в лавку... А в молодости и вовсе непереносимо без цели...

— У вас никогда ее не было?

— Пожалуй, что нет. Я ведь натура недеятельная. То одно, то другое приходит на ум...

— Да, ум у вас философский.

— Вот уж неверно. Философии я не люблю. Не понимаю ее. Всех этих рассуждений, систем... Они только запутывают. Каждый может сам отличить, где добро и где зло. Человек это чувствует так же, как чувствует, есть у него где-нибудь боль или нет. А ищет для себя системы лишь тот, кто потерял такую чувствительность, сам с собою не может управиться.

— Философия — это мировоззрение,— заметил я,— и не иметь его вообще — это и значит быть лишенным чувствительности.

Он ничего не ответил на это, не желая, видимо, затевать спора с гостем, и продолжал о себе:

— Я не постигаю философских проблем. Они, на мой взгляд, надуманны... Ну, возьмите главнейшую — свободна ли воля человека или же обусловлена, связана. Когда я был в Германии в служебной поездке (я ведь был еще и архивариусом, ездил туда искать документы), то воля моя была обусловлена, а в Италии, в отпуске, она была уже посвободнее. Или о роли великого человека в истории. Опыт показывает, что и самодур,— не столько даже великий, сколько могущественный,— вполне может ее направлять, а степень величия зависит лишь от высоты пьедестала, на котором ему воздвигается памятник. Мне представляется, что ни одна философская истина не выдерживает столкновения с житейскою здравостью. Философы теперь — казуисты, а их идеи исчерпаны. И вообще очень много идей — политических, религиозных, моральных — исчерпано. Одни уже внедрены, другие — выветриваются... Всюду нужны пересмотр, обновление... Везде тоска по незнакомому, новому... И это не оттого лишь, что сами слова, выражавшие эти идеи, опреснели, наскучили. И не потому, что в людях вообще неискоренима потребность в разнообразном, непривычном и нежданном. У людей появилось как бы подчувствие, что привычные мысли и порядки, законы попросту неоправданны, ложны... Мне подчас думается, что если бы все парламенты, церкви и суды, учреждения почему-нибудь взлетели завтра на воздух, то в новых все стало бы неузнаваемым.

Я не понял его, и он стал пояснять. Но если до сих пор он рассказывал благодушно, медлительно, то теперь заговорил торопливо, отрывисто:

— Да, вам непонятно... Потому что сейчас все готовое. С детства готовое. Все головы — в нынешнем, повернуты к нынешнему. Поэтому и не приходит на ум, что надо это все заменять. Не подозреваем другие возможности. А нужно все очень простое, очень простое... Вот видите: там, за кладбищем, домик,— указал он вниз на пространство, где склепы и кресты теперь, в темноте, можно было уже только угадывать,— видите точечки неподалеку от него? Это ульи. Одного здешнего пасечника. Такого, что у него каждый улей за год два новых дает. Кроме воска и меда! Так почему же кругом столько бедности, столько проблем?! Почему, когда посмотришь иной раз газеты, в них споры экономистов, тревоги демографов?!. Потому что мир усложнился привычками, взглядами, борьбою страстей, борьбою теорий и не может подняться до простоты... А взгляните туда вот, за озеро, где еще столько огней. Это наш крупнейший отель. Радио, газеты шумели. И совсем не о том, о чем нужно бы... Подрались два туриста. Баварец с израильтянином. Повод был пустяковый, ничтожный. Баварец закричал: «Жаль, что вас всех не добили!» Судья у нас ретивый католик, помнит, что Христос был евреем, что Иоанн XXIII считает убийства евреев величайшим из грехов христиан, и посадил на шесть месяцев... Вся деревня тогда раскололась. За и против баварца, за и против судьи. Я был среди тех, кто не одобрял наказания. О нет, я не расист, не подумайте! Но тюрьма — страдание, а не осознание. Тюрьма — продление злобы. Баварец был молодым инженером на электронном заводе. Разве не правильней было бы сказать этому двадцатичетырехлетнему парню, что евреем был и отец кибернетики, давший ему хлеб и профессию. И приговорить к прочтению книг. К сдаче через полгода экзамена... Но на свете, который заполонен учреждениями, нет такого, что способен бы вынести, выполнить такой бесхитростный приговор. Все в нынешнем мире втиснуто в ложные нормы, все захвачено ведомствами, и ничего не оставлено решать человеку...

Он говорил еще долго. Порывисто, нервно, изменив спокойствию, с которым держался весь день. И все с необычными выводами... Я был немножко растерян и наивно спросил, не пытался ли он изложить свои мысли в письме министру юстиции или каким-нибудь депутатам палаты. Он улыбнулся — и в этой улыбке было сожаление обо мне, ничего не понявшем...

— Мои мысли как раз и восходят к министрам. Именно эти-то люди больше других стоят на страже привычного. Их надо не так подбирать. Нужны кличи и конкурсы. Конкурсы среди людей с сильным взором, которым открывается то, что не видно другим.

— Конкурсы среди фантазеров? — не удержавшись, спросил я.

— Вы можете это называть, как хотите,— печально ответил он.— Я подразумеваю людей, способных обновлять, изменять.

И стал говорить уже как-то тихо, беспорядочно, словно сам себе бормоча:

— Министрам?! Смешно! Нет примеров, когда кто-нибудь убедил бы правительства. Вот правительства, наоборот, убеждали. Не нуждаясь для этого ни в какой правоте... В правительствах не могут быть люди, поднимающиеся над пределами времени. Просто не могут быть...

— Да,— сказал я,— теперь мне понятно, почему односельчане считают вас странным. И все же мне кажется еще более странным, что ваши любопытные мысли встречают у них отчужденность. Опаску. Мне не послышалось среди этих мыслей такой, что оправдывало бы их поведение...

— Вы ошибаетесь,— не сразу ответил он.— Есть среди моих мыслей и дикие. Так их определил кардинал.

— Что-о? — поразился я.— О них узнало столь высокое в церкви лицо?

— Да. Он лично порвал мою рукопись. В ней было главное, о чем я догадался из жизни. Что могло бы оберегать жизни других.

Он замолчал.

— Сгораю от любопытства,— сказал я.

— Мной найден способ,— спокойно ответил он,— покончить с убийствами. Изжить на свете преступность.

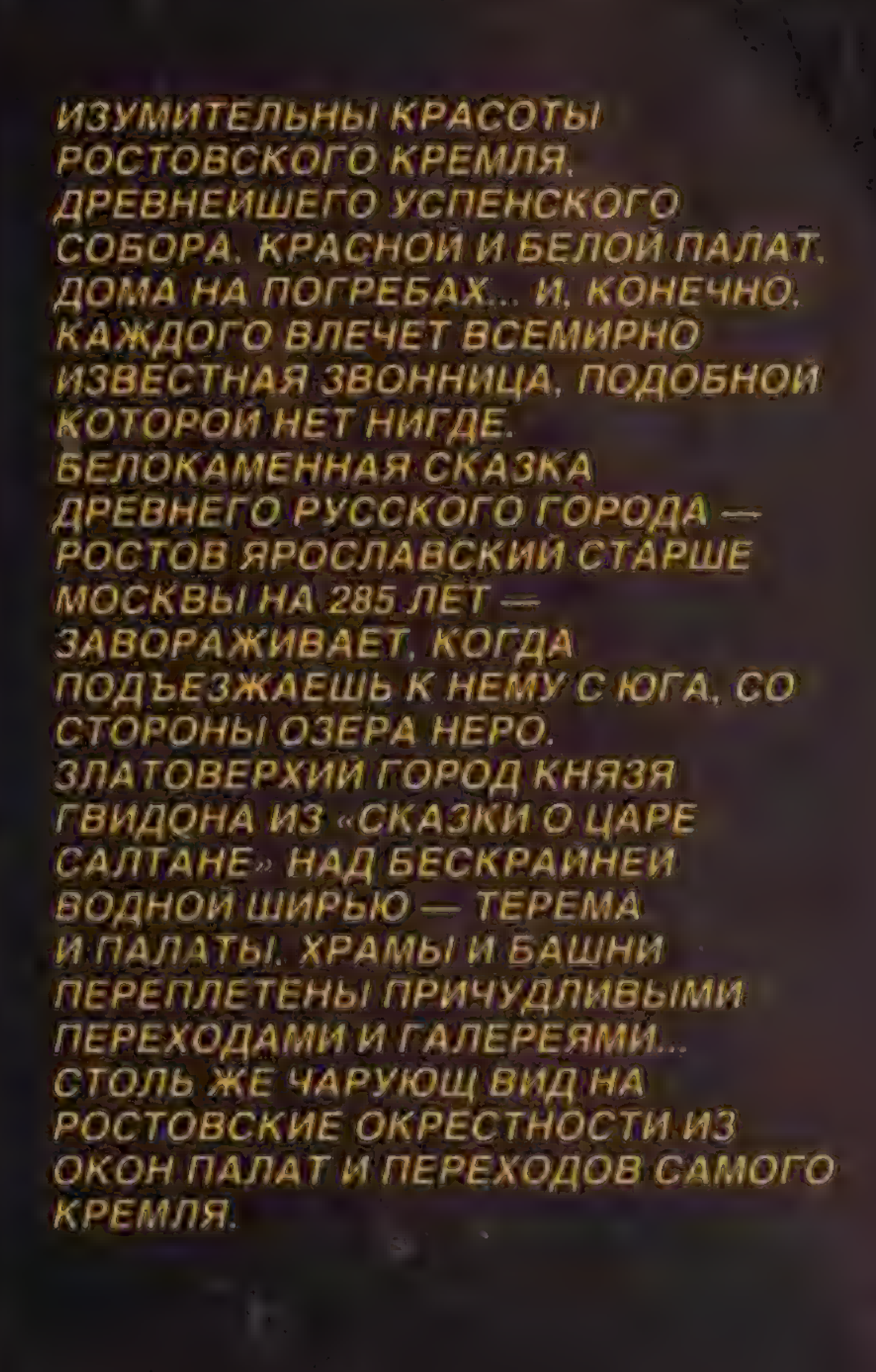
Сказал такое без всякого пафоса, словно речь шла о способе выведения пятен или ускоренной варке картофеля.

Меня это так ошарашило, что я, обомлев, отвел от него вопросительный взгляд. Любое, что он дальше сказал бы, породило бы только неловкость...

Он почувствовал, какое впечатление произвело его признание.

— Со мной тоже бывает,— заметил он, не смутившись,— что я избегаю задавать самонадеянному человеку вопросы, на которые стыдно будет услышать ответ. Ведь он изобличит лишь невежество... Утверждать, что недоучившийся поп, изгонявшийся канцелярист, неудачник, не сумевший сложить даже собственной жизни, открыл способ устранения зла из жизни всего человечества,— это нелепица, да! Она может вызвать лишь смех. Тысячи лет во всех народах и странах существовала преступность, тысячи умных голов бились над тем, как изжить ее, огромная наука об этом сложилась с борьбой теорий,

Окончание на стр. 31.



ИЗУМИТЕЛЬНЫ КРАСОТЫ РОСТОВСКОГО КРЕМЛЯ, ДРЕВНЕЙШЕГО УСПЕНСКОГО СОБОРА, КРАСНОЙ И БЕЛОЙ ПАЛАТ, ДОМА НА ПОГРЕБАХ... И, КОНЕЧНО, КАЖДОГО ВЛЕЧЕТ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНАЯ ЗВОННИЦА, ПОДОБНОЙ КОТОРОЙ НЕТ НИГДЕ. БЕЛОКАМЕННАЯ СКАЗКА ДРЕВНЕГО РУССКОГО ГОРОДА — РОСТОВ ЯРОСЛАВСКИЙ СТАРШЕ МОСКВЫ НА 285 ЛЕТ — ЗАВОРАЖИВАЕТ, КОГДА ПОДЪЕЗЖАЕШЬ К НЕМУ С ЮГА, СО СТОРОНЫ ОЗЕРА НЕРО. ЗЛАТОВЕРХИЙ ГОРОД КНЯЗЯ ГВИДОНА ИЗ «СКАЗКИ О ЦАРЕ САЛТАНЕ» НАД БЕСКРАЙНЕЙ ВОДНОЙ ШИРЬЮ — ТЕРЕМА И ПАЛАТЫ, ХРАМЫ И БАШНИ ПЕРЕПЛЕТЕНЫ ПРИЧУДЛИВЫМИ ПЕРЕХОДАМИ И ГАЛЕРЕЯМИ... СТОЛЬ ЖЕ ЧАРУЮЩ ВИД НА РОСТОВСКИЕ ОКРЕСТНОСТИ ИЗ ОКОН ПАЛАТ И ПЕРЕХОДОВ САМОГО КРЕМЛЯ.

Георгий БЛЮМИН,
Николай РАХМАНОВ и
Марк ШТЕЙНБОК (фото)

ПРЕСЛАВНЫЙ ГРАД





История Ростовского кремля не менее драматична, чем история самого города. Грандиозное строительство началось в 70-е годы XVII века и велось 30 лет. Было время, когда кремль едва не погиб: в конце XVIII века ростовские архиепископы переехали в Ярославль, бросив строения на произвол судьбы. Шедевр архитектуры был приговорен к сносу, и только активная позиция самих ростовцев спасла его. Тогда же был организован всенародный сбор пожертвований, и началась научная реставрация сооружений кремля. Мы помним имена краеведов И. Шлякова и А. Титова, чьими стараниями в 1883 году открылся первый в Ростове музей древностей. А спустя 70 лет невиданной силы смерч пронесся над старинным городом и снес купола кремлевских соборов. Специальная правительственная комиссия выделила тогда на восстановление ансамбля Ростовского кремля 7 миллионов рублей, и коллектив реставраторов во главе с ленинградским архитектором В. С. Баниге не только поднял кремль из руин, но и придал ему тот вид, который имел он 300 лет назад.

С 1969 года здесь Государственный Ростово-Ярославский архитектурно - художественный музей-заповедник.

Близость озера, переувлажненность почвы приводят к ослаблению фундаментов кремлевских зданий, появляются трещины в стенах, гибнут старинные настенные росписи. Музей экспонирует менее четырех процентов своих сокровищ!


Когда-то в Ростове звучал вечевой колокол. Ростовские звоны и поныне — диво дивное. За-





писанные на пластинки, они разошлись по всему свету. «Возглавляет» группу из пятнадцати колоколов на звоннице Успенского собора богатырский колокол «Сысой» весом в две тысячи пудов. Звонница выстроена как большой резонатор, сама поверхность озера Неро усиливает акустику. Но и тут много проблем. Состарились дубовые сваи и балки, их нечем заменить. Совсем недавно установили наконец сваи из красноярской лиственницы. На моржовых жилах висят языки ростовских колоколов. Совхоз «Ударник» Магаданской области много лет обещает их поставку, но воз и ныне там.

Думается, что справиться со своими проблемами Ростову нынешнему все-таки гораздо проще, нежели сто лет назад, когда патриотизм и активность ростовцев возродили к жизни исторический центр города. Ростов Великий должен с честью носить имя свое.



АФРИКА — КОНТИНЕНТ, НАСЕЛЕНИЕ КОТОРОГО К 2000 ГОДУ ДОСТИГНЕТ ОКОЛО 850 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК. ПОЧТИ СО ВСЕМИ АФРИКАНСКИМИ СТРАНАМИ МЫ ИМЕЕМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИВАЕМ ТОРГОВЛЮ.

АФРИКА И МЫ

Анатолий ГРОМЫКО, член-корреспондент АН СССР, директор Института Африки АН СССР **Фото автора**



б Африке, наших отношениях с ее народами сегодня пишут и говорят достаточно много. Мы хорошо знаем, что особенно активно советско-африканские связи стали развиваться после 1960 года, когда, как грибы после дождя, на континенте стали появляться самостоятельные государства.

С тех пор прошло почти тридцать лет. Определенные успехи в развитии советско-африканских отношений налицо. Обольщаться ими, однако, не следует, так как ситуация в Африке сегодня, в канун последнего десятилетия XX века, к сожалению, иная, чем она была в начале 60-х годов. Тогда на африканском континенте при всей его отсталости царила эйфория, своего рода экстаз больших надежд. Всем казалось, что вслед за политической независимостью почти автоматически придет независимость экономическая, всеобщее процветание. Этого не произошло. Более того, в настоящее время, образно выражаясь, Африка находится на краю бездны отсталости, нищеты, голода. Я бы рискнул даже сказать, что ситуация в Африке не только критическая, но и в высшей степени трагическая. Возникла опасность необратимой деградации жизни для многих ее стран и народов.

Все вышесказанное, конечно, не означает, что у африканцев нет никаких достижений. Они есть, и можно было бы привести немало этому конкретных примеров.

Ситуация с Африкой напоминает мне средней руки пловца, который преодолевает широкую и бурную опасную реку, одним берегом которой является колониальная история и неоколониальная эксплуатация, а другим — общество социальной справедливости. А таким обществом многие африканцы считают социализм, который они хотели бы построить, к которому они стремятся, но который для них пока остается лишь мечтой.

Параллельно замечу: некоторые из нас, советских обществоведов-африканистов, полагают, что вся Африка должна сначала пройти через капиталистическую стадию развития, а затем уж пусть, мол, строит социализм. Другие верят, что путь некапиталистического развития отдельных африканских стран в направлении к социализму тернист, неимоверно сложен, но вполне реален.

Мы Африку знаем и понимаем не так хорошо, как хотелось бы. Ну, например, не так уж мало наших сограждан полагает, что «в Африке живут негры». На самом деле «негры» живут в Америке. Так там называют, особенно в США, потомков рабов, вывезенных с Черного континента. А в Африке живут африканцы, сотни больших и малых народов со своими именами. Ни разу за время своих поездок по странам Тропической Африки я не слышал, чтобы африканцы называли себя «неграми». Это слово — изобретение европейских колонизаторов и американских расистов.

Сталкиваются в нас два других, взаимоисключающих друг друга наивных представления. Особенно глубоко засело первое. А своими корнями оно в чем-то уходит в наше детство. Вспомните милую и любимую всеми нами сказку Корнея Ивановича Чуковского о докторе Айболите и Бармалее. Там есть такие слова:

И папочка, и мамочка
Под деревом сидят,
И папочка, и мамочка
Детям говорят:
«Африка ужасна,
Да-да-да!
Африка опасна,
Да-да-да!»

Я далек от мысли искать первопричину пугливости некоторых наших хозяйственников, в то время как перед ними встает во весь рост реальное дело развития советско-африканских экономических связей, только в этом. Дело здесь обстоит куда сложнее. Но уверен, что где-то глубоко в подсознании многих из них все еще шелестят странички со словами: «Не ходите, дети, в Африку гулять».

И ввинчивается в наше подсознание опаснейший стереотип: «Африка опасна, Африка ужасна». И экономические связи с ними развивать, ох как сложно! Вот и топчемся на одном уровне в советско-африканских экономических отношениях уже много-много лет. А чтобы изменить здесь дело к лучшему, нужно действовать сообразно русской пословице: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Конечно, для этого необходимы наши советские социалистические капиталы, банки, совместные предприятия, которые сделали бы советско-африканское сотрудничество взаимовыгодным. Но в первую очередь нужны знающие во всем этом деле толк люди. Если их нет, то их надо готовить. Обеспечить их доверием и возможностями, и дело пойдет.

Стереотипу об «опасной Африке» противостоит его антипод «Африки теплой и экзотической». Распространены примерно такие суждения: «В Африке тепло и вообще благодать. Ходи себе в одних трусах, проголодался — срывай плоды с деревьев, ешь ананасы, манго жуй, укройся в тени баобаба и спи отдыхай. Ну, а если у тебя ружьишко, то и вовсе нечего бояться».

На самом деле Африка, особенно область Сахары, да и тропический пояс, континент с очень жестким климатом. Тропическая жара и влажность, с одной стороны, и засуха, с другой, изматывают человека. В течение двадцати лет, начиная с конца 60-х годов, даже в Западной Африке, где осадки, как правило, более обильны, чем в восточной части континента, выпадает дождей гораздо ниже обычной для этих мест нормы. Недоедание и голод стали постоянными спутниками миллионов африканцев. Немало мест, где свирепствуют желтая лихорадка, холера и малярия. Так что идиллию здесь можно наблюдать в основном лишь на побережье, где в избытке растут пальмы и километрами тянутся великолепные песчаные пляжи.

Реальная Африка требует к себе серьезного отношения. И тем, кто ее понимает, ведет с ней дела всерьез, она щедро отдает свои дары природы и тепло человеческих сердец. Это не ад и не рай, а скорее чистилище, где человек испытывается на прочность своих физических и моральных сил.

Распространены у нас, особенно среди ученых, и такие клише. Первое: «Мы уже хорошо знаем Африку, так как изучаем ее на основе идей научного социализма». Второе: «Мы ее знаем плохо, даже очень плохо». На мой взгляд, ни та, ни другая точка зрения не отражают уровня познания Африки в нашей стране. Думаю, что было бы правильнее говорить о том, что мы знаем и понимаем Африку на «удовлетворительно». И вот именно это нас сегодня не может устроить, так как для более эффективного советско-африканского сотрудничества необходимо резко улучшить наши научные познания об африканской специфике.

И тут же встает вопрос: а как это сделать в относительно короткий срок, с теми же кадрами? Как поднять уровень знаний советской науки об Африке на «хорошо» или даже в перспективе на «отлично»? Дать полный ответ на этот коренной вопрос в рамках данной статьи невозможно. Ясно, однако, что перестройка в советской африканистике должна идти дорогой постепенного отхода от изучения Африки лишь по книгам, статьям, цифровым данным и поворота к «полевым» исследованиям на месте, к изучению Африки и африканцев в самой Африке. А для этого АН СССР необходимо возродить замечательные традиции длительных научных и научно-прикладных экспедиций русских ученых в Африку. Таких, как, например, экспедиция в 1847 году Егора Ковалевского в Египет; экспедиция в 1876—1878 годах Василия Юнкера в Тропическую Африку.

До сих пор в Эфиопии вспоминают путешествия по стране в конце XIX — начале XX веков Александра Булатовича, Леонида Артамонова и Петра Щусева. В трудном 1927 году в Эфиопии работала ботаническая экспедиция, возглавлявшаяся академиком Николаем Ивановичем Вавиловым. В последующие годы «полевые» исследования были проведены в Гане крупным советским ученым Иваном Потехиным, в Мали — известным африканистом Дмитрием Ольдерогге. В 1971 году состоялась советско-сомалийская комплексная экспедиция. Проведены и другие полезные «полевые» исследования. И все же они были исключением из правил, и мы все больше тяготели к книжному изучению Африки. А нужно вести дело к тому, чтобы комплексные научные экспедиции в наиболее интересные для нас точки африканского континента имели место как минимум один раз в 5 лет. Сейчас, например, на мой взгляд, советская африканистика нуждается в новой советско-эфиопской экспедиции. Для ее организации есть все возможности.

Но, пожалуй, самым злостным и опасным стереотипом об Африке является утверждение, распространенное на Западе, что «Африка — это поле борьбы между Востоком и Западом, социализмом и капитализмом, СССР и США». Борьбы, да и только! А как же с сотрудничеством? А спросили ли самих африканцев, хотят ли они быть «полем битвы»? Теория «сфер влияния» в Африке давно устарела, более того, она обращена в прошлое, в XIX век. А надо смотреть в будущее, в век XXI, надо стремиться в Африке к многостороннему сотрудничеству и спокойно воспринимать происходящие там перемены. Африка нуждается в мире и созидательной работе, это «сфера влияния» самих африканцев и никого больше. И они вправе развивать свои отношения с любым другим государством, в том числе с СССР и США. Нас, советских, в Африке уважают. В поездках по ее странам я не встречал ни одного собеседника, будь то государственный деятель, президент республики или простой крестьянин, кто ни говорил бы уважительно о Стране Советов. В Африке хорошо знают, что мы с вами их друзья, что мы не грабим Африку, не стремимся там властвовать. И это мнение укоренилось вопреки всем усилиям буржуазной пропаганды доказать обратное. В то же время африканцы нередко сетуют на то, что многие советские люди еще недостаточно знают и понимают африканскую специфику.

Вспоминаю свои встречи с видным политическим и общественным деятелем с Мадагаскара А. Рацифихерой. Он, в частности, говорил о значении осознания учеными такого сложного явления, как взаимодействия различных цивилизаций в условиях научно-технического прогресса и интернационализации хозяйства. «Ведь только взаимопроникновение цивилизаций,— подчеркивал мой малагасийский друг,— может дать возможность сделать нашу эпоху эпохой сотрудничества между всеми народами».

Эта мысль Рацифихеры о значении взаимосвязи цивилизаций представляется мне ключевой для того, чтобы отношения Севера и Юга, промышленно-развитых стран с развивающимися странами, в том числе африканскими, поднялись на качественно новый уровень, быстро дали реальные плоды для народов «третьего мира». Другими словами, необходимо понимание специфики другой цивилизации, во многом чуждой нашей, того уклада жизни, в котором живут и развиваются другие народы. Следовательно, мы, люди социалистической цивилизации, должны гораздо лучше знать и понимать цивилизацию африканскую. В свою очередь, африканцы могут многое взять от идеологии, экономики, культуры, науки и техники цивилизации социалистической. Если такого понимания нет, то двустороннее экономическое сотрудничество социалистической страны со страной развивающейся может идти как бы вхолостую, никак не отражаясь на повышении жизненного уровня африканцев, не принося и для нас ощутимых результатов.

Кто боится вступить в воду, тот всю жизнь загорает на берегу.

Наши отношения со странами Африки — относительно новое явление. И тот старт, который они взяли, можно охарактеризовать как неплохой. Но нам предстоит длинная, марафонская дистанция, и пройти ее с достоинством и самое главное с хорошими результатами мы сможем, только развивая с ними новые формы экономического и технического сотрудничества как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Причем вся эта работа должна вестись так, чтобы от нее ощутимый результат получали как советские люди, так и, конечно, африканцы.

Грэм ГРИН

РОМАН

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Рисунки
Геннадия
НОВОЖИЛОВА

Идет проверка сотрудников британской разведки. Она связана с тем, что содержание секретного документа экономического характера, относящегося к Африке, стало известно за рубежом. В разведслужбе боятся скандала. Ее глава сэр Джон Харгривз во избежание огласки готов убрать провинившегося агента без суда и следствия. Сотрудник одного из отделов Морис Касл до этого служил в Южной Африке. Там он познакомился со своей будущей женой. Влюбившись в африканку, Касл нарушил расовые законы и был вынужден срочно покинуть Преторию. Однажды Касла пригласили к Харгривзу. Во время беседы Харгривз сообщил, что в Лондон должен приехать сотрудник южноафриканского управления безопасности Мюллер, тот, который шантажировал Касла во время его службы в Претории. Теперь же Морису предстоит не только сотрудничать с Мюллером, но и принимать его в своем доме.

Глава II

В середине октября Сэм по-прежнему находился на карантине. Обошлось без осложнений, тем самым миновала еще одна угроза его будущему, которое всегда казалось Каслу столь непредсказуемым и неопределенным. Как-то воскресным утром, когда он проходил по Хай-стрит, его вдруг охватило желание искренне поблагодарить пусть даже вымышленного всевышнего за то, что Сэм был снова здоров. Вот почему Касл заглянул на несколько минут в приходскую церковь и занял место в задних рядах. Служба уже подходила к концу и празднично одетые прихожане, в основном люди пожилые и средних лет, пели стоя.

Они пели нарочито вызывающе, по всей видимости, из-за того, что внутренне не принимали слов псалма: «Вдали зеленый холм и нет городской стены». Эта простая, но емкая фраза, выдержанная в одной световой гамме, невольно напомнила Каслу сельские пейзажи, столь часто встречающиеся у примитивистов.

«Городскую стену можно,— подумал Касл,— сравнить с руинами башни рядом с железнодорожной станцией и еще, при желании, можно представить себе зеленый склон Коммона, служивший раньше стрельбищем, где некогда возвышался высокий столб, на котором вполне можно было распять человека». На какое-то мгновение Касл был готов принять их веру — ведь не произойдет ничего страшного, если он отблагодарит бога своего детства, бога Коммона и древнего замка за то, что сын Сары пребывает в здравии. Воздушная волна от сверхзвукового самолета вдруг заглушила церковное песнопение, заставила дребезжать старые витражи на западной стороне здания, раскачала шлем крестоносца, подвешенный на колонне.

Эта сцена вернула Касла в реальный мир. Он быстро вышел на улицу и купил воскресные газеты. На первой странице «Санди экспресс» в глаза бросался заголовок: «В лесу найдено тело ребенка».

После обеда Касл взял Сэма и Буллера на прогулку по Коммону, а Сара осталась дома немного вздремнуть. Он бы предпочел, чтобы и пес остался дома, однако его агрессивный нрав не дал бы хозяйке отдохнуть. Касл успокаивал себя тем, что на Коммоне Буллеру вряд ли попадется бездомная кошка. После того, как летом, три года назад, судьба сыграла с ним злую шутку, ни с того ни с сего послав им на пути компанию, выехавшую на пикник, Касл выгуливал пса с опаской. Компания устроилась под буками. Рядом с ними находился породистый кот с голубым ошейником и ярко-красным шелковым поводком. Кот, по всей вероятности, сиамский, не успел даже испустить вопль ярости или боли, как Буллер одним махом прикончил его и перекинул через плечо, подобно рабочему, забросившему мешок на грузовик. Затем пес проследовал дальше в лес, настороженно поглядывая по сторонам — ведь там, где отыскалась одна кошка, наверняка должна быть и другая. Касл же в одиночку вынужден был противостоять разъяренным и удрученным горем хозяевам кота.

В октябре вряд ли кто станет устраивать пикник. Тем не менее Касл отправился на прогулку, когда солнце уже заходило, он вел Буллера на цепи, когда они шли по Кингс-роуд, мимо полицейского участка, расположенного на углу Хай-стрит. Лишь миновав канал, железнодорожный мост и новые дома (эти дома были построены примерно четверть века назад, тем не менее все, что не существовало во времена его детства, казалось Каслу новым), он отпустил собаку. И тотчас же, как и подобает хорошо дрессированному псу, Буллер принял боевую стойку, принюхиваясь, двинулся по краю тропы и стал пристально высматривать добычу. Только на природе Буллер в полной мере раскрывал свои возможности. Каслу собака не нравилась, он купил ее с одной целью — успокоить Сару. Однако Буллер не проявил себя отменным сторожевым псом, и в доме у них прибавилось хлопот. Но как ни странно, Буллер больше всех любил именно Касла.

Папоротник уже совсем пожелтел и отливал осенним золотом, а дикий терн почти совсем оголился. Касл и Сэм напрасно проискали старые мишени, которые раньше тут и там возвышались на пустыре. Их засыпало землей, и пробивалась лишь пожелтевшая листва.

— Они расстреливали здесь шпионов? — спросил Сэм.

— Нет, почему ты так решил? Здесь просто было стрельбище. Еще со времен первой мировой войны.

— Но ведь бывают шпионы, настоящие шпионы, правда?

— Думаю, что да. А почему ты спросил?

— Потому что хотел знать наверняка, вот почему.

Касл припомнил, что примерно в таком же возрасте он тоже спрашивал своего отца, существуют ли феи на самом деле, однако отец отвечал не столь правдиво. Отец был сентиментальным человеком — он любой ценой хотел убедить мальчика, что есть нечто такое, ради чего стоило жить на свете. И было несправедливо обвинять его во лжи: он по праву мог бы утверждать, что фея — символ нечто такого, что имело под собой мало-мальски реальную почву. И до сих пор не перевелись еще отцы, которые внушают своим детям, что есть бог.

— Шпионы, как агент 007?

— Нет, не совсем.— Касл попытался перевести разговор на другую тему. Он сказал: — Когда я был маленьким, я думал; что настоящий дракон живет где-то в пещере среди окопов.

— А где эти окопы?

— Их сейчас не видно из-за папоротника.

— А что такое дракон?

— Ну, это защищенное панцирем животное, изрыгающее огонь.

— Как танк?

— Да, можно сказать, как танк.

Каслу было досадно от того, что они с мальчиком мыслили разными образами.

— Но больше всего он похож на гигантскую ящерицу,— пояснил Касл и только тогда понял, что мальчик видел много танков, но они покинули места, где водились ящерицы, задолго до того, как Сэм появился на свет.

— А ты когда-нибудь видел дракона?

— Однажды я видел, как из окопа идет дым, и подумал, что это — дракон.

— И ты испугался?

— Нет. Тогда я боялся совсем другого. Я ненавидел свою школу, и у меня было мало друзей.

— А почему ты ненавидел школу? Я тоже буду ее ненавидеть?.. Настоящую школу?

— У нас у всех — разные враги. Может быть, тебе для защиты и не понадобится дракон, а мне он был необходим. Все вокруг тогда ненавидели моего дракона и хотели убить его. Они боялись дыма и пламени, которые вырывались у дракона из пасти, когда он сердился. Ночью мне удавалось выбираться из интерната на улицу, и я относил дракону баночки сардин, которые откладывал специально для него. Дракон согревал баночки своим дыханием, потому что любил сардины теплыми.

— И это было на самом деле?

— Нет, конечно, нет. Но мне теперь кажется, что все так и было. Однажды я лежал и плакал под простыней. Шла первая неделя семестра, и до каникул оставалось еще двенадцать долгих недель. Вдобавок я всего боялся. Была зима, но вдруг окно в моей комнате запотело. Я протер стекло рукой и выглянул наружу. И увидел дракона, он лежал внизу на темном мокром тротуаре и скорее был похож на крокодила в реке. Он никогда до этого не покидал Коммон, поскольку все были против него, как и против меня, как мне казалось. Полицейские специально держали винтовки на тот случай, если дракон появится в городе. И тут вдруг он оказался рядом, спокойно лежал внизу и пускал пары теплого воздуха в мое окно. Понимаешь, он узнал, что начался учебный год и понял, что я несчастен и одинок. Он был сообразительнее любой собаки, и уж, конечно, сообразительнее нашего Буллера.

— Ты смеешься надо мной,— запротестовал Сэм.

— Нет, я просто вспомнил.

— А что было потом?

— Я подал ему тайный знак. Он означал: «Опасность. Уходи!» Я не был уверен, что он знал о полицейских с винтовками.

— И он ушел?

— Да. Он уходил очень медленно, оглядываясь назад, как будто ему не хотелось оставлять меня одного. Потом я ничего уже больше не боялся и не чувствовал одиночества. По крайней мере не всегда. Я знал, что стоит мне только подать знак, и дракон покинет свою пещеру на Коммоне и придет, чтобы помочь мне. У нас было много своих собственных знаков, кодов, шифров...

— Как у шпионов,— добавил Сэм.

— Да,— ответил Касл с досадой.— Наверное, так. Совсем как у шпионов.

Касл вспомнил, как он когда-то составил карту Коммона и нанес на нее расположение всех окопов и скрытых переходов, поросших папоротником. Все, как в настоящей шпионской истории.

— А теперь пора идти домой. Мама будет волноваться...— добавил Касл.

— Нет, не будет. Я ведь с тобой. Я хочу посмотреть на пещеру дракона.

— В общем-то дракона на самом деле не было.

— Но ты ведь сам в этом не уверен, правда?

С большим трудом Касл все же отыскал старый окоп. Пещера, где укрывался дракон, поросла густыми кустами ежевики. Касл попробовал было пробраться сквозь них, но зацепил ногой ржавую банку, и она отлетела в сторону.

— Вот видишь,— обрадовался Сэм,— ты на самом деле приносил ему еду.

Сэм осторожно продвинулся вперед, но не нашел ни дракона, ни его скелета.

— Полиции, видимо, все же удалось поймать его,— с грустью заметил Сэм.— Затем он поднял жестянку.— Тут был табак, а не сардины.

Вечером, когда Касл и Сара уже легли спать, он спросил жену:

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1—3.

— Ты действительно считаешь, что еще не слишком поздно?

— Ты о чем?

— О том, чтобы уйти с работы.

— Конечно, нет. Ты ведь совсем не старый.

— Тогда, возможно, придется переехать отсюда.

— Почему? Здесь не хуже, чем в другом месте.

— А тебе самой не хотелось бы уехать? Этот дом по-настоящему-то и домом назвать нельзя, ведь правда? Вот, скажем, если бы я получил работу за границей...

— Мне бы хотелось, чтобы Сэм рос в одном месте. И потом, когда мальчик уедет отсюда, он все равно сможет вернуться назад. Вернуться туда, где прошло его детство. Так же, как вернулся ты сам. К своим истокам. К уверенности в своих силах.

— И к старым руинам рядом с железной дорогой.

Он вспомнил вдруг голоса местных буржуа, такие же невыразительные, как их праздничное одеяние, и как они пели в мрачноватой церкви, отдавая дань еженедельному ритуалу: «Вдали зеленый холм и нет городской стены».

— Обожаю руины,— сказала Сара.

— Но ведь ты сама никогда не сможешь вернуться в свое детство,— возразил Касл.

— Со мной все обстоит иначе. Я никогда не верила в свои силы. Пока не встретила тебя. И там нет руин, одни лишь бараки.

— Сюда приезжает Мюллер, Сара.

— Корнелиус Мюллер?

— Да. Теперь он — большой человек. И я должен быть с ним любезен. Таков приказ.

— Не беспокойся. Он уже не в силах навредить нам.

— Разумеется, нет. Но мне не хотелось бы делать тебе больно.

— Каким образом?

— «С» хочет, чтобы я принял его здесь, у нас дома.

— Так привези его. Пусть он посмотрит, как мы живем с тобой... и с Сэмом...

— Ты не против?

— Конечно, я согласна. Чернокожая хозяйка дома и ее чернокожий малыш принимают мистера Корнелиуса Мюллера.

Они засмеялись, но чувство внутренней тревоги не покидало их.

Глава III

— Как там наш маленький чертенок? — поинтересовался Дэвис, задававший один и тот же вопрос на протяжении последних трех недель.

— Спасибо. Все прошло. Сэм уже совсем поправился. Он спросил как-то на днях, когда ты к нам приедешь в гости. Ты нравишься мальчику, не знаю даже почему. Сэм часто вспоминает прошлогодний пикник и как мы тогда играли в прятки. Он считает тебя шпионом. Он вообще любит говорить о шпионах, как в мое время дети обычно говорили о феях. А может, и не говорили.

— А можно мне заангажировать его отца на сегодняшний вечер?

— Разве что-нибудь намечается?

— Вчера, когда тебя не было, зашел доктор Персивейл, и мы разговорились. Знаешь, мне кажется, они действительно собираются послать меня за кордон. Персивейл спросил, не возражаю ли я сделать дополнительно несколько анализов... крови, мочи, рентген почек и так далее, и тому подобное. При этом доктор добавил, что с тропиками лучше быть поосторожнее. Мне он понравился. И спортом Персивейл интересуется.

— Скачками?

— Нет, всего-навсего рыбалкой. Вообще это — спорт одиночек. У нас с ним есть что-то общее: он ведь тоже холостяк. Мы решили сегодня вечером немного поразвлечься. Я уже давным-давно не выбирался в город. Ребята из министерства окружающей среды, с которыми я живу в квартире,— жуткие зануды. Может ты, старина, согласишься хотя бы на вечер стать соломенным вдовцом?

— Последний поезд отходит с вокзала в полдвенадцатого ночи.

— Вечером мы полные хозяева у меня дома. Оба хранителя окружающей среды уехали проверять какой-то аварийный район. Так что кровать в твоем распоряжении будет. Двуспальная или односпальная, смотря что ты предпочитаешь.

— Лучше односпальную. Я начал потихоньку стареть, Дэвис. Не знаю, право, какие у вас с Персивейлом планы на вечер...

— Мне кажется, можно будет поужинать в кафе, а потом сходить на стриптиз. Скажем, в «Реймондз ревюбар» на знаменитую Риту Роллз...

— Думаешь, Персивейл будет от этого в восторге?

— Я уже говорил с ним, и — представляешь? — он ни разу не был на стриптизе. Доктор сказал, что с удовольствием проветрится в компании с коллегами, которым можно доверять. Ты ведь знаешь, как это поставлено у нас в конторе. Он в таком же положении, как и мы с тобой. Даже на вечеринке не с кем обмолвиться словом, и все по причинам безопасности. Нашему брату даже не положено по сторонам смотреть. Необходимо блюсти себя, и точка. Ну, а если тебя вдруг не станет — «да хранит тебя бог», и прощай — ведь все мы смертны. Конечно, с тобой дело обстоит иначе — ты женат. Ты всегда можешь поговорить с Сарой и отвести душу...

— Нам не положено говорить о работе даже с женами.

— Ну, ты ведь, наверняка, с ней делишься.

— Нет, не делюсь, Дэвис. Но если ты собираешься подцепить сегодня пару шлюх, то и при них я трепаться не стану. Они почти все работают на МИ-5. Да, забыл, ведь название уже поменяли. Мы теперь называемся ДИ-1. С какой такой стати? Целое управление, видимо, для этого создали.

— Ты тоже, видно, сыт по горло.

— Да, немного развлечься мне, наверно, не помешает. Я тогда позвоню Саре. И что мне ей сказать?

— Скажи правду. Ты ужинаешь с одним из начальников. Это важно для тебя по службе. Заночуешь



ты у меня. Сара мне доверяет. Она уверена, что со мной ты в надежных руках.
— Да, тебе, мне кажется, она доверяет.
— Черт побери, но ведь это на самом деле так!
— Позвоню ей, когда пойду обедать.
— Почему бы не сэкономить и не позвонить прямо отсюда?
— Люблю разговаривать без свидетелей.
— Ты на самом деле думаешь, что они не ленятся прослушивать все наши разговоры?
— А как бы ты поступал на их месте?
— Да, видимо, также. Представляю, какую же белиберду им приходится записывать.

Вечерняя программа удалась лишь наполовину, хотя начало было многообещающим. Доктор Персивейл своей ненавязчивой манерой общения хорошо вписался в их компанию. Он не пытался доказать ни Каслу, ни Дэвису, что занимает более высокое служебное положение. Когда в разговоре кто-то упомянул полковника Дейнтри, Персивейл иронично заметил, что встречал его как-то на охоте.
— Оказывается, он не в восторге от абстрактного искусства да и от меня тоже. И все потому, что я не охочусь,— объяснил Персивейл.— Я увлекаюсь лишь рыбной ловлей.
К тому времени они добрались уже до «Реймондз ревюбара» и сидели за маленьким столиком, где умещалось три высоких стакана виски. На сцене симпатичная молодая девица выделывала акробатические трюки, лежа в гамаке.
— Я бы ей отдался,— прокомментировал Дэвис.
Девица потягивала шампанское из бутылки, подвешенной над гамаком, после каждого глотка с абсолютно отрешенным видом освобождаясь от очередного предмета своего туалета. Наконец, она предстала во всей своей красе и раскачивалась в гамаке, как курица в авоське домохозяйки из Сохо. Бизнесмены из Бирмингема бурно зааплодировали, а один из них стал размахивать над головой кредитной карточкой «Динерз клаб», демонстрируя, видимо, что у него есть деньги.
— А что вы обычно ловите?— поинтересовался Касл.
— В основном форель или хариуса,— ответил Персивейл.
— А что, между ними есть разница?
— Мой дорогой друг, это все равно, что спросить заядлого охотника, чем лев отличается от тигра.
— И что вы предпочитаете?
— По существу, тут дело даже не в предпочтении. Я просто люблю ловить на живца. Хариус не столь сообразителен, как форель, но это вовсе не значит, что его легче поймать. Просто необходим другой подход. И еще хариус — боец, он будет сопротивляться из последних сил.
— А форель?
— Форель — само совершенство. Ее очень легко вспугнуть. Споткнешься нечаянно, заденешь что-то, а ее и след простыл. Важно еще правильно забросить наживу. Иначе...
Персивейл при этом развел руками и случайно показал в сторону еще одной оголенной девицы на сцене, которую прожектора, как зебру, высвечивали полосами света.
— Вот это фигура,— с восхищением воскликнул Дэвис.
Он держал бокал виски в руке, восторженно наблюдая за ритмичными, как ход швейцарских часов, движениями на сцене.
— Это может неблагоприятно отразиться на вашем давлении,— предостерег его Персивейл.
— Давлении?
— Я ведь говорил, что оно у вас и так повышено.
— Ну, не надо сейчас...— взмолился Дэвис.— Это же сама Рита Роллз, единственная и неповторимая Рита.
— Вам необходимо пройти полный медицинский осмотр, если вы серьезно подумываете о работе за границей.
— Я чувствую себя прекрасно, Персивейл. Я никогда так хорошо себя не ощущал.
— Вот именно здесь и скрывается опасность.
— Я начинаю уже бояться вас,— заявил Дэвис.— Представишь вас на рыбалке и поймешь, почему форель...
Дэвис отпил виски и брезгливо поморщился, словно проглотил противное лекарство.
Доктор Персивейл сжал Дэвису руку и объяснил:
— Я ведь пошутил, Дэвис. Ваша манера поведения больше напоминает хариуса.
— Вы хотите сказать, что я классом ниже?
— Не следует недооценивать хариуса. У него весьма чувствительная нервная система. И потом хариус — настоящий боец.
— Ну тогда я скорее всего смахиваю на треску,— заметил Дэвис.
— Не говорите при мне, пожалуйста, о треске. Я вообще не считаю ее за рыбу.
В зале зажегся свет, представление окончилось. Дирекция, очевидно, сочла, что после Риты Роллз просто глупо выпускать кого-то на сцену. Дэвис какое-то время провел в баре у игрального автомата. Он истратил всю свою мелочь и взял две монетки у Касла.
— Сегодня мне не везет,— угрюмо заметил он, снова впав в меланхолию. Доктор Персивейл, по всей вероятности, расстроил его.
— Как насчет того, чтобы по последней принять у меня дома?— предложил Персивейл.
— А мне показалось, вы предостерегали меня от выпивки?
— Дорогой мой, я преувеличивал. В любом случае виски лучше, чем что-либо другое.
— Так или иначе, но меня что-то стало клонить ко сну.
На Грейт-Уиндмилл-стрит проститутки, стоявшие в проемах дверей, подсвеченных красными фонарями, ласково зазывали прохожих:
— Пройдемся, голубчик?
— Полагаю, против этого вы меня тоже станете предостерегать?— спросил Дэвис.
— Что вам сказать, семейные отношения — безопаснее для здоровья. Нет такой нагрузки на организм.
Ночной швейцар выскабливал ступени фешенебельного многоквартирного дома Олбани на Пиккадилли-стрит, где жил Персивейл. Табличка его квартиры под номером Д-6 словно обозначала еще один сектор их старой конторы. Касл и Дэвис обратили внимание, как осторожно, крадучись, доктор прошел во внутренний дворик дома. Такую походку он, видимо, выработал на рыбалке, пробираясь по колено в воде.
— Жаль, что он увязался с нами,— сказал Дэвис.— Без Персивейла все получилось бы намного лучше.
— Мне почему-то казалось, тебе нравится доктор.
— Да, верно. Но сегодня он буквально действовал мне на нервы своими глупыми рыбацкими присказками. И еще все эти разговоры о моем давлении. Какое ему дело до моего кровяного давления? Он что — настоящий врач, что ли?
— Не думаю, что в последние годы он вообще занимался медицинской практикой,— ответил Касл.— Персивейл — человек шефа, он поддерживает связь с группой лиц, занимающихся разработкой бактериологического оружия. Медик по образованию им, видимо, как раз и нужен.
— У меня всегда мурашки по спине пробегают, когда я слышу об этом центре в Портоне. Сейчас так много говорят о ядерном оружии, но совсем забывают о существовании данного укромного заведения в провинции. Там даже не устраивают демонстраций протеста, никто не носит значков, призывающих покончить с бактериологической войной. Но в случае запрета ядерного оружия все равно ведь останутся эти смертоносные пробирки...
Они свернули за угол и поравнялись с отелем «Клариджез». Высокая стройная дама в вечернем платье садилась в «роллс-ройс», за ней проследовал надменный мужчина во фраке, нервно поглядывающий на часы. Парочка чем-то напоминала сцену из эдуардианской пьесы начала века — было около двух часов ночи.
Желтый линолеум, который покрывал крутую лестницу, ведущую в квартиру Дэвиса, протерся так сильно, что походил на швейцарский сыр с дырками. Однако жильцов дома это обстоятельство, видимо, не смущало, ведь главное, что они жили в самом центре Лондона. Дверь на кухню была приоткрыта, и в раковине Касл заметил гору немытой посуды. Дэвис открыл шкафчик, полки были заставлены пустыми бутылками. У себя дома специалисты по защите окружающей среды данной проблемой явно пренебрегали. Дэвис безуспешно пытался найти бутылку, где виски хватило бы для двоих.
— Ну, что же, в таком случае придется слить,— сказал он.— Виски все равно ведь смесь.
Дэвис слил вместе остатки «Джонни Уокера» и «Белой лошади».
— А что, здесь никто не убирается?— поинтересовался Касл.
— Дважды в неделю приходит женщина, и мы все оставляем для нее.— Дэвис приоткрыл дверь.— Вот твоя спальня. Только, увы, кровать не убрана. Домработница должна прийти завтра.
Дэвис подобрал с пола грязный платок и для порядка затолкнул его куда-то в шкаф. Он снова провел Касла в гостиную и освободил кресло, сбросив лежавшие там журналы на пол.
— Хочу изменить свою фамилию,— изрек Дэвис.
— Как это?
— Поменять «Дэвиса» на «Дейвиса». Представь только, как классно будет звучать: «Дейвис с Дейвис-стрит».— Дэвис задрал ноги на софу.— А эта моя смесь не так уж плоха. Я окрещу ее «Белый Уокер». На этом можно заработать целое состояние — сделать, например, потрясающую рекламу: на картинке обворожительная женщина-привидение. А что ты все-таки думаешь о докторе Персивейле?
— Он был довольно дружелюбен. И все же я до конца так и не понял...
— Что не понял?
— Зачем ему потребовалось провести с нами целый вечер. Чего он добивался?
— Вечер с людьми, с которыми можно просто поболтать. Разве этого не достаточно? Неужели ты не устаешь от того, что в незнакомых компаниях приходится все время молчать?
— Ну, уж он не очень-то болтал. Даже с нами.
— Доктор отвел душу до твоего прихода.
— О чем же он говорил?
— Да о центре в Портоне. Оказывается, мы обошли американцев по некоторым направлениям, и они попросили нас сосредоточить внимание на таком хитром смертоносном препарате, который можно использовать на определенной высоте и одновременно применять и в пустыне... Допуски, температурные режимы и прочее подходят для Китая. А возможно, и Африки.
— С какой стати он тебе все это рассказал?
— Ну как же. Сведения о китайцах мы ведь должны получать от наших агентов в Африке. После того пресловутого доклада из Занзибара наша репутация неизмеримо возросла.
— Это было два года назад, и сведения до сих пор так и не подтвердились.
— Он посоветовал не предпринимать никаких открытых демаршей. Никаких вопросников агентам. Все держится в большом секрете. Следует лишь повнимательнее приглядеться, не заинтересуются ли китайцы этим дьявольским заведением. Сообщить обо всем нужно персонально Персивейлу.
— А почему он это рассказал тебе, а не мне?
— Наверно, он и тебе все рассказал бы, но ты задержался.
— Я был у Дейнтри. Персивейл, если бы захотел, мог бы сообщить все это на службе.
— Что тебя смущает?
— Мне просто интересно, достоверна ли его информация?
— Тогда какого черта?..
— Не исключено, что он хотел пустить ложные слухи.
— С нами это не пройдет. Ведь сплетниками нас не назовешь. Ни тебя, ни меня, ни Уотсона.
— А с Уотсоном он говорил?
— Нет. Кстати, он, как всегда, стал распинаться о том, что сведения «совершенно секретны». Но ведь к тебе это никак не относится.
— И все же смотри, не проговорись, что рассказал обо всем мне.
— Итак, старина, ты все же подхватил нашу профессиональную болезнь — подозрительность.
— Да, заболевание серьезное. Поэтому я и начал подумывать об уходе на пенсию.
— Огороды разводить?
— Нет, заниматься чем-то совершенно несекретным, простым и относительно безопасным. Я даже чуть было не устроился в рекламное бюро.
— Будь начеку. У них ведь тоже есть свои тайны, свои торговые секреты.
Где-то в прихожей зазвонил телефон.
— В такой час,— посетовал Дэвис.— Просто неприлично. Кто бы это мог быть?— Он встал с дивана.
— Рита Роллз,— предположил Касл.
— Плесни себе еще «Белого Уокера».
Касл собирался налить себе немного виски, когда Дэвис позвал его к телефону:
— Звонит Сара, Касл.
Было полтретьего ночи, и Касл не на шутку встревожился. Неужели что-то стряслось с ребенком, который в принципе уже выздоровел?
— Сара?— спросил он.— Что случилось? Что-нибудь с Сэмом?
— Милый, извини. Ты уже лег спать?
— Нет еще. Что произошло?
— Мне не по себе.
— Из-за Сэма?
— Нет, дело не в Сэме. Просто после полуночи дважды звонили по телефону и молчали.
— Скорее всего не туда попали,— с облегчением ответил Касл.— Обычное дело.
— Видимо, кто-то в курсе, что тебя нет дома. Я боюсь, Морис.
— Да что может случиться у нас на Кингс-роуд? Послушай, ведь полицейский участок в двух метрах от дома. И потом у нас есть Буллер. Пес на месте, да?
— Он спит и урчит во сне.
— Я бы приехал сейчас к тебе, но поезда уже не ходят. И такси тоже откажется так поздно к нам ехать.
— Я отвезу тебя,— предложил Дэвис.
— Нет, нет, не стоит.
— Ты о чем?— переспросила Сара.
— Это я Дэвису. Он предложил отвезти меня на машине.
— Нет, не надо, я против. Мне уже намного лучше после того, как я поговорила с тобой. Я разбужу Буллера.

— С Сэмом все в порядке?
— Все нормально.
— У тебя есть под рукой телефон полиции. В случае чего они будут у тебя через пару минут.
— Я глупая, да? Дура набитая.
— Милая моя дурочка.
— Извинись перед Дэвисом. И выпейте, как следует.
— Спокойной ночи, дорогая.
— Спокойной ночи, Морис.
Каслу было приятно, что она назвала его по имени. Это было равнозначно признанию в любви. В присутствии посторонних свою нежность они выражали словами «дорогой» или «милый», а вот по имени называли друг друга только наедине, словно не доверяли никому свои чувства. В момент близости Сара тоже, как некую тайну, выкрикивала его имя. Она положила трубку, но Касл еще какое-то время вслушивался в гудки.
— Ничего не произошло? — спросил Дэвис.
— Там все в порядке, спасибо.
Касл вернулся в гостиную и налил виски. Затем произнес:
— Мне показалось, что твой телефон прослушивают.
— Как ты это определил?
— Сам не могу понять. У меня просто интуиция. Трудно сказать, что меня натолкнуло на эту мысль.
— Но ведь мы живем не в каменном веке. Никто в наше время не может с уверенностью утверждать, прослушивается телефон или нет.
— За исключением того случая, когда допущен сбой или когда тебе нарочно хотят дать знать об этом.
— Ну, а к чему мне сообщать, что меня прослушивают?
— Чтобы, например, напугать тебя. Кто знает?
— И все же, на что я им сдался?
— Служба безопасности никому не доверяет. Особенно таким, как мы с тобой. Наибольшая опасность, по их мнению, исходит от нас. Ведь по идее мы в курсе всех этих чертовых документов с грифом «совершенно секретно».
— Я себя опасным не считаю.
— Поставь пластинку,— попросил Касл.
Дэвис коллекционировал поп-музыку, причем пластинки у него находились в бо́льшем порядке, чем прочие вещи в доме. Каталог пластинок был составлен ничуть не хуже, чем каталог в библиотеке Британского музея. Дэвис мог без труда назвать лучшую мелодию года, как, впрочем, и победителей на скачках в Дерби. Дэвис спросил:
— Тебе хочется послушать действительно что-то старомодное и классическое, верно?
И Дэвис поставил пластинку «Битлз».
— Включи погромче!
— Громче будет хуже.
— Все равно, сделай, как я прошу.
— Но это же ужасно.
— Мне так намного спокойнее,— объяснил Касл.
— По-твоему, и в квартире понапихана подслушивающая аппаратура?
— Нисколько этому не удивлюсь.
— Да, ты точно заразился подозрительностью,— усмехнулся Дэвис.
— Твой разговор с Персивейлом не дает мне покоя... Трудно поверить... и потом это дурно попахивает. Мне кажется, что обнаружена утечка информации и устраивают проверку.
— Что касается меня, то я ничего не имею против. Ведь это — их долг, не так ли? Но как-то странно, что все их игры так легко можно раскрыть.
— Верно. И все же история, рассказанная Персивейлом, может быть правдивой. Правдивой, но уже рассекреченной. А агент, которого они, скажем, подозревают, должен в этом случае передать информацию по своим каналам...
— И ты действительно считаешь, они думают, что в утечке информации виноваты именно мы?
— Да. Один из нас или даже оба.
— Но коль скоро это не мы, какое нам до всего дело? — возразил Дэвис.— Уже давно пора спать, Касл. Если у меня под подушкой установлен микрофон, то ничего, кроме моего храпа, они не услышат.— Дэвис выключил проигрыватель.— Мы с тобой на роль двойных агентов не подходим.
Касл разделся и потушил свет. В маленькой неубранной комнатке было душно. Он попытался поднять окно, но шнур был оборван. Касл посмотрел вниз, на тихую предрассветную улочку. За окном — ни души, даже полицейских не было видно. Лишь одинокое такси скучало на стоянке в конце Дейвис-стрит, ближе к «Клариджез». Со стороны Бонд-стрит раздавался прерывистый сигнал, видимо, где-то сработало противоугонное устройство. Пошел небольшой дождь, и темный асфальт сразу заблестел, как полированный.
Касл задернул шторы и прилег, но не мог уснуть. Его долго мучил вопрос: всегда ли рядом с домом Дэвиса находилась стоянка такси? Он хорошо помнил, что однажды в поисках машины ему пришлось дойти до гостиницы и стоянка была с другой стороны. Перед тем как заснуть, Касл постарался найти ответ на еще один, не дававший покоя вопрос: неужели они пошли на то, чтобы подставить Дэвиса для слежки за ним? Или им нужен ничего не подозревающий Дэвис, чтобы подсунуть ему крапленую купюру? Сам Касл не очень-то поверил в версию доктора Персивейла относительно Портона, и все же, как он сказал Дэвису, в этой истории могла быть доля истины.

Глава IV

Касл стал по-настоящему переживать за Дэвиса. Правда, тот сам начал отпускать шуточки по поводу своей меланхолии, однако состояние отрешенности глубоко овладело Дэвисом. Касл также считал дурным признаком то, что Дэвис перестал обхаживать Синдру. Зачастую Дэвис вслух произносил какие-то фразы, не имеющие отношения к выполняемой им в данный момент работе. Однажды, когда Касл, к примеру, спросил его: «69300/4 — чей это агент?»,— Дэвис ответил: «Номер на двоих в отеле «Полана» с видом на океан». И все же серьезных оснований, позволяющих считать, что Дэвис болен, не было — совсем недавно он прошел медицинский осмотр у доктора Персивейла.
— Вот, как обычно, ждем телеграммы из Заира,— пожаловался Дэвис.— 59800 наверняка не думает о нас, сидит себе небось вечерком в тени и поддает, позабыв обо всем на свете.
— Стоит, пожалуй, послать ему напоминание,— прокомментировал Касл и, записав на листе бумаги: «На наш № 185 не получено ни подтверждения, ни ответа», положил листок на подставку для исходящих документов, которые забирала Синдра.
Сегодня Дэвис выглядел так, будто собрался на регату. Новый ярко-красный в желтую полоску шелковый платочек свисал из нагрудного кармашка, словно флаг в ясную погоду. Галстук Дэвиса был бутылочного цвета с пестрым рисунком. Носовой платок и тот бросался в глаза. Сегодня Дэвис явно вырядился словно на парад.
— Как провел уик-энд? — поинтересовался Касл.
— Более или менее. Довольно спокойно. Мои соседи опять уехали с инспекцией очистных сооружений какого-то завода в Глостере.
Секретарша по имени Патриция (она всегда обижалась, когда ее звали Пэт) зашла в кабинет и забрала листок с текстом телеграммы. Как и Синдра, девушка была из семьи военных и приходилась племянницей бригадиру Томлинсону. У них в управлении поощрялось брать на работу близких родственников, исходя из соображений безопасности. Легче было просвечивать таких сотрудников, поскольку многие их связи дублировались.
— И это в с е? — недоуменно спросила девица таким тоном, будто привыкла обслуживать более важные секторы, чем 6А.
— Боюсь, пока все, на что мы способны, Пэт,— ответил Касл.
Секретарша громко хлопнула дверью.
— Незачем злить ее,— заметил Дэвис.— Она может пожаловаться Уотсону, и тогда нас, как провинившихся учеников, оставят после занятий переписывать телеграммы.
— А где Синдра?
— Она взяла сегодня отгул.— Дэвис громко откашлялся и отер лицо ярким платком.— Я как раз хотел спросить тебя... не будешь возражать, если я смоюсь в одиннадцать? А к часу обещаю быть на месте, и никаких проблем. Если кто-либо станет меня спрашивать, просто скажи, что я ушел к дантисту.
— В таком случае тебе надо было одеться во все черное,— пошутил Касл,— чтобы поверил Дейнтри. А то твоя одежка никак не ассоциируется с зубной болью.
— Ты же понимаешь, я и не собираюсь к дантисту. Все дело в том, что Синдра согласилась встретиться со мной в зоопарке и вместе полюбоваться пандами. Как ты думаешь, это уже прогресс?
— А ведь ты действительно влюбился, Дэвис!
— Я стремлюсь, Касл, к серьезным отношениям. Отношениям, которые надолго и будут длиться месяц, год и десять лет. Я устал от однодневных знакомств. Представь, я возвращаюсь после вечеринки с Кингс-роуд часа в четыре ночи, сильно накачавшись. На следующее утро вспоминаю: да, все было замечательно, девочка просто прелесть, жаль, что я пил все подряд, а то бы показал еще не такой класс... Потом представил себе, как бы это могло быть у меня с Синдрой в Лоренсу-Маркише. С ней действительно можно было бы обо всем поговорить. Ведь человеку просто необходимо с кем-то поболтать о своей работе. Мои подружки из Челси — шутки в сторону — проходу мне не дают. Чем я занимаюсь? Да где находится моя контора? Я прикидывался, что все еще служу в Олдермастоне, но все прекрасно знают, что этот исследовательский центр уже давно прикрыли. Что мне отвечать?
— Скажи, например, что служишь в Сити.
— Это тоже не пройдет, дураков теперь нет.
Дэвис стал складывать документы на столе. Он сложил карточки и запер картотеку. Две странички машинописного текста Дэвис сунул в карман.
— Опять выносишь документы из кабинета? — предостерег его Касл.— Осторожнее с Дейнтри. Однажды он тебя уже застукал.
— С нами полковник закончил. Сейчас он проверяет сектор 7. Во всяком случае, в документе ничего серьезного нет, обычная ерунда. «Только для вашего сведения. По прочтении уничтожить» — на нормальном языке означает «бред собачий». Но, как положено по инструкции, я все запомню, пока буду ждать Синдру. Она, как всегда, наверняка опоздает.
— Вспомни дело Дрейфуса. Не бросай ничего в мусорную корзину, а то, чего доброго, кто-либо еще найдет.
— Я поступлю проще и в знак верности сожгу эти странички на глазах у Синдры.
Дэвис вышел из комнаты, но тотчас же вернулся.
— Касл, пожелай мне ни пуха ни пера.
— Разумеется. Всех благ тебе.
Касл непроизвольно с особой теплотой произнес эту, в принципе банальную фразу. И удивился, будто открыл для себя что-то новое, как бывает, например, с человеком, который приехал отдохнуть на море, зашел в знакомый грот и вдруг заметил наскальный рисунок, а ведь раньше он принимал его просто за след от морской губки.
Через полчаса раздался телефонный звонок. Женский голос поинтересовался:
— Дж. У. хотел бы переговорить с А. Д.
— Сожалею,— ответил Касл,— однако А. Д. не сможет переговорить с Дж. У.
— А кто у телефона? — подозрительно переспросила дама на другом конце провода.
— С вами говорит некто по имени М. К.
— Не кладите трубку, пожалуйста.
Послышались какие-то щелчки и треск. Затем откуда-то издалека раздался мужской голос. Касл по тембру догадался, что говорит Уотсон.
— Слушаю. Это Касл?
— Да.
— Мне нужно переговорить с Дэвисом.
— Он вышел.
— Куда?
— Дэвис вернется в час дня.
— Будет поздно. А где он сейчас?
— Пошел к дантисту,— замявшись, ответил Касл. Он не любил быть соучастником чужой лжи, это всегда усложняло жизнь.
— Давайте лучше включим экран,— предложил Уотсон.
Как всегда, не обошлось без путаницы. Один из них включил экранное устройство раньше другого, но перешел на нормальную связь, когда второй абонент как раз включил экран. Когда электроника, наконец, сработала, Уотсон спросил Касла:
— Вы не можете срочно с ним связаться? Ему необходимо быть на совещании.
— Мне очень трудно помочь вам. Не знаю даже, у какого дантиста он лечится. Дэвис не оставил его телефон.
— Не оставил? — неодобрительно переспросил Уотсон.— Ну, хотя бы адрес он должен был сообщить.
Уотсон в прошлом хотел стать адвокатом, но у него ничего не получилось. Нарочитые манеры Уотсона, вероятно, раздражали судей, ведь большинство судей полагает, что поучительный тон — привилегия лишь их одних, а не прочих членов суда. Но в «управлении министерства иностранных дел» Уотсон быстро сделал карьеру. Именно эта черта характера Уотсона, так мешавшая ему стать адвокатом, в их конторе помогла Уотсону без труда обойти по службе людей старшего поколения, таких, например, как Касл.
— Ему следовало сообщить мне, что он уходит,— заметил Уотсон.
— Наверное, у него неожиданно разболелся зуб.
— «С» распорядился, чтобы Дэвис обязательно присутствовал на совещании. Шеф хотел обсудить с ним один доклад. Кстати, он должен был получить документ.
— Да, Дэвис что-то говорил, там обычная чепуха.
— Чепуха? С грифом «совершенно секретно»? Как он поступил с документом?
— Думаю, запер его в сейфе.
— А проверить вы не могли бы?
— Придется попросить секретаршу. Ах да, извините, никак не получится. У нее ведь сегодня отгул. А что, это настолько важно?
— Так по крайней мере считает «С». Полагаю, что в связи с отсутствием Дэвиса придется вам быть на совещании. Хотя это больше касается Дэвиса. Конференц-зал 121, ровно в двенадцать.

Перевела с английского Мария ОСИНЦЕВА.

Продолжение следует.



НАЗАД ПУТИ НЕТ

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН ОСТРО ПОСТАВИЛО ВОПРОС О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА, КОТОРОЕ БЫ ВЫРАЖАЛО И ЗАЩИЩАЛО ИНТЕРЕСЫ ИСКУССТВА И БЫЛО БЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ТАК ГОД НАЗАД БЫЛ ОБРАЗОВАН СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ. ОБРАЗОВАН РАДИ ИНОГО МИРООЩУЩЕНИЯ ХУДОЖНИКА, ВОЗМОЖНОСТИ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПОДЛИННЫМ ХОЗЯИНОМ ТВОРЧЕСТВА, САМОМУ ЗА СЕБЯ ОТВЕЧАТЬ. С МОМЕНТА ПРЕКРАСНЫХ «ТЕАТРАЛЬНЫХ МЕЧТАНИЙ», ПРОИЗНЕСЕННЫХ С ТРИБУНЫ, ПРОШЕЛ ГОД. КАКИМ ОН СТАЛ? ЧТО ПРИНЕС ЭТОТ ГОД МОЛОДОМУ СОЮЗУ? ОБ ЭТОМ НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ МАРИЯ ДЕМЕНТЬЕВА БЕСЕДУЕТ С СЕКРЕТАРЕМ ПРАВЛЕНИЯ СТД РСФСР, ГЛАВНЫМ РЕЖИССЕРОМ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ ЕРМОЛОВОЙ, ЛАУРЕАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РСФСР ВАЛЕРИЕМ ФОКИНЫМ.

— Валерий Владимирович, мы с вами прекрасно помним бурные, эмоциональные выступления на съезде, обещания, данные театральной общественности. Что удалось реализовать?

— То, что Союзу удалось сделать за этот год,— крохи. Пожалуй, менее десяти процентов задуманного.

Смогли изменить систему театральных фестивалей, решить некоторые социальные вопросы. Например, теперь актеры, не прошедшие переизбрание, в течение шести месяцев будут получать зарплату.

Не секрет, что театральный эксперимент нуждается в улучшении, время идет, мы не поспеваем. Собрали гласное, очень серьезное совещание в Рузе, где обсудили все варианты эксперимента с директорами и главными режиссерами театров республики.

Большинство наших прожектов пока остается на бумаге.

Год назад мы, воодушевленные, ринулись «в бой». И в течение года постоянно сталкиваемся с тем, что все наши планы, предложения встречают сопротивление.

Одна из трудностей сегодняшнего существования Союза — во взаимоотношениях со средним звеном работников Министерства культуры. Здесь зачастую идет просто саботаж. В решении вопросов — все время проволочки, перекладывание бумаг из одного ящика стола в другой. Союз все время в положении просителя, бедного, надоевшего родственника, хотя по уставу Союза мы должны работать совместно с органами культуры. Работники же министерства заняли весьма удобную позицию: вы образовали Союз — вот и работайте, а мы — посмотрим. Словом, здесь отношения пока не складываются.

Очень серьезная проблема и в том, что преобразования, необходимые, с нашей точки зрения, для налаживания театрального дела, встречают в автономных республиках, краях, областях России сопротивление со стороны советских органов, органов культуры. Права Союза, которые мы приняли в соответствии с партийными документами, с невероятным трудом входят в сознание, в практику обкомов, горкомов, министерств и управлений культуры. Отсутствует минимальная гласность при обсуждении и принятии управленческих решений, все продолжает делаться авторитарно, касается ли это судьбы какого-либо театра или его отдельных деятелей.

В основе целого ряда конфликтов — кадровый вопрос. В уставе СТД записано, что «СТД участвует в решении вопросов и вырабатывает рекомендации... по назначениям и аттестациям руководящих кадров театров». Это положение нарушается сплошь и рядом. Например, директора театров, по давней традиции, являются номенклатурой местных органов. Это необходимо скорее ломать. Потому что, как правило, получается, что, на местах «тасуя» эту номенклатуру, в театр назначают людей случайных, ничего в нем не смыслящих и способных лишь выражать волю начальства. Которое при этом стоит за такого директора горой. Как почти неизбежное следствие — конфликт с главным режиссером, труппой, ненормальная жизнь коллектива.

Вот — новгородский случай. Труппа раскололась, возник конфликт между директором и главрежем Ю. Зайцевым. В Новгород выехала представительная комиссия в составе М. А. Ульянова, О. Н. Ефремова, А. М. Смелянского, В. П. Захарова. Разговаривали с первым секретарем, работниками обкома партии. Казалось, удалось найти общий язык. С комиссией СТД вроде согласились, поняли, что Зайцев театру нужен. Но комиссия только отъехала — тут же, несмотря на заверения, приняли противоположное решение: Зайцева уволили. Мнение Союза, театральной общественности просто проигнорировали.

Часто мы и не знаем, где, кого назначают. Так, все назначения главных режиссеров по республике Министерство культуры как делало, так и продолжает делать без нас. Недавно мы в том же Волгограде с удивлением обнаружили режиссера Г. Дроздова, до этого с позором изгнанного из Ярославского театра имени Ф. Г. Волкова. В Волгограде он оказался в качестве очередного режиссера, с перспективой стать главным — он ходил по театру и говорил, что ему это обещали, что из Министерства культуры РСФСР специально звонили в обком. Как мы привыкли к этому вечному: «Свой человек, надо поддержать».

Союзу постоянно приходится отстаивать собственные права, причем на самых разных уровнях.

Недавно Ульянов и первый секретарь правления СТД РСФСР О. Н. Ефремов вынуждены были написать письмо на имя министра культуры СССР В. Г. Захарова, его первого заместителя тов. Грибанова о том, что секретариаты обоих Союзов категорически возражают против назначения на должность начальника управления театров Министерства культуры СССР В. П. Демина, который ранее работал ректором ГИТИСа и проявил себя как плохой работник. Мы выдвинули свою кандидатуру. Человека, с нашей точки зрения, компетентного, с театроведческим образованием, которого мы знаем, за которого ручаемся. С ним встречались, вели беседы. А затем мы узнали, что Демин назначен и работает.

Все время неожиданности. Так, в главке в должности начальника театрального отдела мы находим тов. Сидорова. Человека, нам совершенно не известного. И опять пишем письмо начальнику Управления культуры исполкома Моссовета тов. Бугаеву о необходимости согласования подобных назначений с Союзом. А Сидоров тем временем работает.

Таким образом, кадровая политика в театральном деле продолжает выстраиваться директивно. В результате подбор кадров вызывает большие опасения. Постоянно происходят перемещения с одного места на другое, и в качестве аргумента в защиту того или иного начальника произносят: он имеет опыт аппаратной работы. А что, собственно, такое этот опыт? Почему он называется как достоинство? В искусстве по крайней мере это звучит весьма странно...

Чиновники «перестраиваются». Еще недавно, после январского Пленума ЦК КПСС (1987 г.), у меня было ощущение, что они растерялись. Можно было решительным наступлением что-то с места сдвинуть. Сегодня они вроде бы вновь почувствовали себя уверенно, начали в новой ситуации осваиваться. Слова и лозунги произносятся вполне соответствующие времени.

Демократизм во всем: в улыбке, доброжелательности. Стали давать прямые телефоны. Поначалу это действует ошеломляюще. Думаешь: какое счастье, ты можешь позвонить ему прямо! Только потом понимаешь: от того, прямо или через секретаря ты звонишь, ничего не зависит. Суть не меняется. Просто чиновник сменил лик.

— Печально слышать об этих трудностях, о том, что медленно приходят в руководство культурой новые, знающие люди. Нам еще много лет придется расплачиваться за вред, который нанесли и продолжают наносить нашему искусству некомпетентные руководители. Смена кадров необходима, и скорейшая, я здесь с вами совершенно согласна. Но как быть с тем, что и сам аппарат СТД СССР в значительной части оказался составленным из чиновников? Кто же все-таки некомпетентен?

— Мне неловко про это говорить, но аппарат СТД СССР многих удивляет: масса людей, перекочевавших с телевидения, оттуда, отсюда...

— Последнее время часто критикуется работа секретарей Союза кинематографистов. А как обстоит дело у вас?

— Подъем, который был вначале, естественно, прошел. Наступили будни,— праздники ведь быстро кончаются. И теперь надо набраться терпения, сил и работать. И я не могу сказать, что все мои коллеги работают «на полную катушку». Многие, к сожалению, насытились выборностью, и когда пришла пора действовать, отнимать время от основного дела не все хотят. Тем не менее есть в секретариате люди, на которых, я знаю, можно положиться — Александр Гельман, Анатолий Смелянский, Валерий Захаров. Мы существуем на одной волне, понимаем, для чего в этот Союз пришли. И, конеч-

но, трудно переоценить труд, энергию, которые вкладывает в дело Союза председатель его правления Михаил Ульянов.

Мы собираемся провести открытый секретариат, с приглашением всех желающих, и на глазах у театральной общественности разобраться, что сделал каждый из секретарей персонально.

Ясно одно — должно пройти время. Театральный народ в нас поверил. За нами наблюдают, и правильно делают. Выдержим ли,— ближайший год покажет.

— Критика вызывает беспокойство. Не стала ли она в какой-то степени управляемой? Нет ли возможности для сведения с критиками счетов? Не будут ли вынуждены критики, особенно молодые, «отрабатывать» свою преданность секретариату?

— Угроза «секретарских» спектаклей есть и всегда будет. И здесь принципиально, какой пример будут подавать наши ведущие критики: не секрет, что молодые всегда равняются на них. Важно, поменяют ли критики «первого эшелона» прежние позиции (когда старательно пелись гимны «неприкасаемым»), будут ли честно оценивать спектакль, несмотря на то, поставлен ли он секретарем, от которого критик зависит.

— В начале нашей беседы вы затронули тему эксперимента. Хотелось бы узнать о его ходе подробнее, тем более что именно вы, как я знаю, в Союзе ведете эксперимент. Ведь и ему исполнился год, а между тем, по оценкам критики, это был один из самых пустых годов в нашем театре...

— Во-первых, насчет «самого пустого». Мне кажется, весьма наивно ожидать, что театр оживет в одночасье. Что, как грибы, вырастут гениальные спектакли, появятся новые эстетики. Как может сразу возродиться то, что давили десятилетиями? Процесс восстановления — увы! — долгий, тоже лет на десять...

У нас много проектов, предложений по улучшению эксперимента, но они пока все на бумаге. Недавно был координационный комитет у министра, мы опять говорили о том, что прошло уже полгода со времени совещания в Рузе, а документы в жизнь не проведены, что это немыслимый срок. И министр нас поддержал, и опять поставлен срок — месяц. И опять заново прокручивается то, что уже можно было бы вводить в театры.

И хотя ясно, что эксперимент несет в себе много положительного, что такие его позиции, как отмена контроля за репертуаром, ограничений на зарплату, плановых показателей спектаклей, надо вводить в жизнь, много в нем и моментов, которые еще требуют уточнения, проверки, но только в действительно экспериментальной ситуации. Мы все время ощущаем сдерживание, опеку. По условиям эксперимента театры не должны показывать органам культуры репертуарные планы, давать читать пьесы. Но художники принять ответственность на себя не осмеливаются, а чиновники эту ответственность выпустить боятся. Один из них сказал мне однажды замечательную фразу: «А ведь с меня за вас ответственность никто не снимал!» Самое интересное, что ответственность эту на него никто и не возлагал, ее просто в силу определенных обстоятельств присвоили. Ответственность всегда — на художнике, он в первую очередь должен отвечать за то, что делает.

Как все-таки трудно порой избавляться от старых привычек!

Но я думаю, что эксперимент не решит коренного вопроса. Это все латание дыр. Потому что надо приближаться к коренному изменению всей модели театра. Это сейчас главная стратегическая проблема. Я знаю, что с лета работала комиссия Министерства культуры РСФСР и готовила документ о реорганизации театра. Я член комиссии, но, поскольку меня на ее заседания не приглашали, я этого документа не видел. И ознакомился с ним, когда его зачитывали. Министерство предпочитает сочинять без нас. Что же, будущую модель насильно не внедришь. Нам придется что-то разрушать, выдвигать контрпредложения.

Создана сейчас группа, которой руководим мы с Марком Анатольевичем Захаровым, делаем свой проект закона о театре, который даст основу этой будущей модели. Нынешняя система переизбрания себя не оправдывает, не хотят актеры вычеркивать своих. В основе, видимо, все же должна быть договорная система. Надо четко понять, что театр — не здание, а организм, который здание арендует. На договор должны перейти все. Пожизненных мест быть не должно, это ясно.

Недавно, ставя спектакль за рубежом, я присутствовал при том, как режиссер заключал контракт с артистами на следующий год. Одним он говорил: «Вы мне нужны, я могу предложить такую-то роль». Другим — «прошу подождать, в этом сезоне для вас ничего нет». Какой это был спокойный, уважительный диалог! У нас такое пока невозможно.

— Знаете, от всего сказанного вами остается весьма грустное впечатление: создан СТД, выработан устав, но практически многое имеет силу только на бумаге. Реальной нее силы — той, на которую уповала театральная общественность,— нет.

— Да, получается, что так. Но я уверен! Союз должен продолжать работать, есть только этот путь. Мы не можем издать приказ, не можем снять того или иного работника министерства, но можем — а не подумать ли об этом? — вызывать некоторых работников на секретариат и исключать из Союза. Мы должны выражать волю театральной общественности. Я верю, что дорогу осилит идущий.

— «Исключить», «наказать»... Я понимаю, как тяжелы для художника годы унизительной зависимости, эти все принятия, непринятия, уродования спектаклей. Не хочу вас обидеть, но не кажется ли вам, что вы сами начинаете склоняться к административным методам?

Не повторяется ли история?

И самое главное: не боитесь ли вы, что вся ваша творческая энергия растратится на это? Конечно, в период общественных перемен каждый гражданин обязан взяться за общее дело. Все это так, но силы человека — художника — невосполнимы... И в то время, как многие, кто является цветом нашего театра, приняли на себя почти чиновничьи функции, не начинаем ли мы терять искусство?

— Да, этого я очень боюсь. Для меня это вопрос номер один. Я остро ощущаю, что во мне в последнее время постоянно идет борьба. В этом безумном количестве организационных дел начинает уходить главное, во имя чего все и делается,— творчество.

Да, я боюсь. И мне часто хочется забыть все и после репетиции думать о репетиции. О той, что прошла, что будет завтра. В состоянии творчества надо находиться сутками, а не в перерывах между совещаниями. Да, силы одни, жизнь одна. И хотя я пока не могу сказать, что общественная работа очень уж вредит моей режиссерской деятельности, в последнее время все больше задумываюсь, что профессия моя — все же режиссер, а не борец за новый тип работника Министерства культуры. И это очень серьезная проблема.

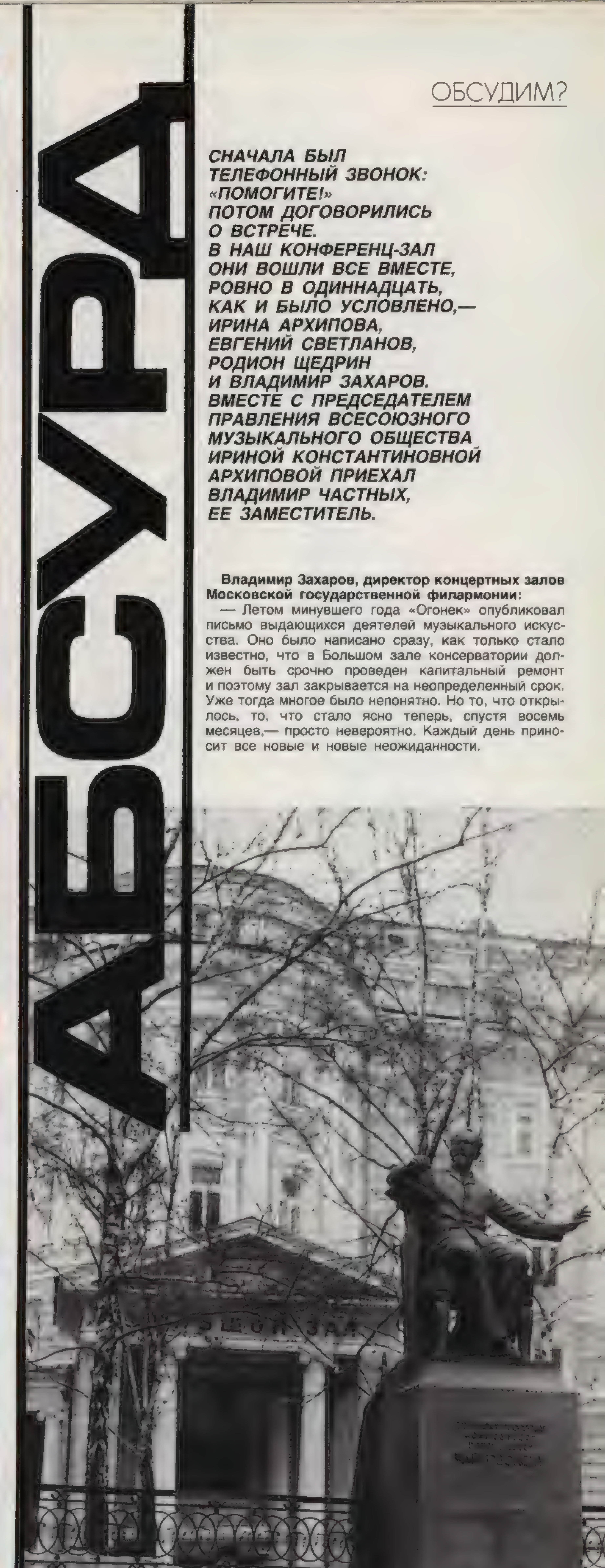
Но, наверное, у каждого своя дорога, свой путь. Мы вступили на него — и альтернативы нет. Жаль, если на этом пути мы сожжем себя, станем потерянным поколением... Время покажет. Одно знаю твердо: сдаваться сейчас нельзя. Ведь этого от нас и ждут. А назад дороги нет.

АБСУРД

СНАЧАЛА БЫЛ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК: «ПОМОГИТЕ!» ПОТОМ ДОГОВОРИЛИСЬ О ВСТРЕЧЕ. В НАШ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ОНИ ВОШЛИ ВСЕ ВМЕСТЕ, РОВНО В ОДИННАДЦАТЬ, КАК И БЫЛО УСЛОВЛЕНО,— ИРИНА АРХИПОВА, ЕВГЕНИЙ СВЕТЛАНОВ, РОДИОН ЩЕДРИН И ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ. ВМЕСТЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ВСЕСОЮЗНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ИРИНОЙ КОНСТАНТИНОВНОЙ АРХИПОВОЙ ПРИЕХАЛ ВЛАДИМИР ЧАСТНЫХ, ЕЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬ.

Владимир Захаров, директор концертных залов Московской государственной филармонии:

— Летом минувшего года «Огонек» опубликовал письмо выдающихся деятелей музыкального искусства. Оно было написано сразу, как только стало известно, что в Большом зале консерватории должен быть срочно проведен капитальный ремонт и поэтому зал закрывается на неопределенный срок. Уже тогда многое было непонятно. Но то, что открылось, то, что стало ясно теперь, спустя восемь месяцев,— просто невероятно. Каждый день приносит все новые и новые неожиданности.



Владимир Частных, заместитель председателя правления Всесоюзного музыкального общества:

— Предыстория такова. В 1973 году в Большом зале консерватории был проведен капитальный ремонт: ректорат консерватории настоял на замене коммуникаций, отопления, укреплении и реставрации потолка, ценой немалых усилий было доказано пожарным, что акустический потолок нельзя заменить железобетонными перекрытиями, как они настаивали, иначе пропадет звук,— словом, в ноябре 1973-го зал снова принял зрителей. Спустя три года в Малом зале была обнаружена деформация некоторых конструкций, и по решению Министерства культуры СССР было проведено еще одно обследование всех зданий консерватории целиком. Проверка показала: действительно, в Большом зале есть слабые места, есть что чинить. Был составлен акт, из которого следовало, что Большой зал нуждается в ремонте, но после того, как были сделаны все необходимые первоочередные работы, зал открылся. Реальные проблемы оставались только с амфитеатром, мы закрыли его для публики, там начались все необходимые работы, но партер по-прежнему принимал посетителей, каждый вечер шли концерты, то есть мы вышли из положения, и все были довольны. Потом, в 1981 году, в Большом зале дополнительно укреплялась лепнина, штукатурка. Все разговоры о том, что зал находится в аварийном состоянии, отпали сами собой.

И вот в 1986 году происходит смена хозяйственного руководства консерватории. Читателям «Огонька» будет интересно узнать, что «бурная» деятельность новой администрации началась с закрытия Большого зала консерватории. Как так? Да так. А какие же основания? Как, какие? Акт 1977 года.

Владимир Захаров:

— Зал закрыли. Был отменен концертный сезон, слушателям вернули деньги за абонементы, а слушателей в Большом зале за год ни много ни мало — 365 тысяч. Для сравнения: в Колонном зале Дома союзов на наших концертах могут побывать максимум 90 тысяч. Есть разница!

Владимир Частных:

— А когда зал закрыли, неожиданно стало известно, что соответствующие строительные организации к его ремонту сейчас не готовы, так что работы здесь могут начаться не ранее чем через полтора-два года.

Честно говоря, когда эта, с позволения сказать, «деталь» выяснилась, мы все испытали шоковое состояние. Зал закрыт, сезон сорван, а когда начнется ремонт, никто не знает. Тогда была создана комиссия, теперь уже в нее вошли представители самых разных компетентных организаций: заведующий лабораторией анализа причин аварий и повреждений сооружений ЦНИИСКа имени Кучеренко, заместитель начальника ГлавАПУ, директор В/О «Союзреставрация», главный инженер Мосгоргеотреста, заведующий лабораторией НИИ Мосстроя и другие специалисты. Столь представительных комиссий еще не было. После тщательного осмотра зала был составлен акт, где — я цитирую — говорится: «Учитывая сложившуюся... ситуацию, при которой к капитальным работам можно приступить реально через полтора-два года, и недопустимость бесполезного простоя зала в этот период, комиссия считает возможным возобновить эксплуатацию Большого зала консерватории в ноябре 1987 года с одновременным выполнением следующих мероприятий и работ». И далее следует перечень из пяти позиций первоочередных работ, таких, как замена электропроводки, восстановительный ремонт вентиляции, установка защитной сетки, косметический ремонт интерьеров...

Акт был подписан 1 октября. Но зал так и не был открыт.

А дальше началось самое интересное.

Родион Щедрин, композитор, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии:

— На прошлой неделе утром у меня раздается телефонный звонок: фирма «Мелодия» приглашает на хоровую запись. Автору всегда интересно, как его исполняют, я благодарю, говорю, что обязательно приеду, и вдруг слышу в ответ: только учтите, пожалуйста, что запись будет в помещении Большого зала консерватории. Я не верю ушам своим, переспрашиваю: как в Большом зале? Он же закрыт на ремонт, и по этой причине, насколько мне известно, отменен весь концертный сезон?.. А мне отвечают: да, зал закрыт, но когда там начнется ремонт — неизвестно, а пока, чтобы он не простаивал, его арендует фирма «Мелодия» и там, в зале, закрытом для зрителей, каждый день с утра до самого позднего вечера идут записи: хоры, детские коллективы, оркестры, камерные ансамбли и т. д. и т. п.

Честно говоря, я обомлел... Вообще в этой истории много еще вопросов, но сейчас самое время коснуться вот какой стороны этого дела, может быть, даже наиболее серьезной на сегодняшний день, и рассказать о том, в какой ситуации оказался один из наших лучших музыкальных коллективов, Государственный симфонический оркестр СССР — ведь его единственная и постоянная творческая база была именно здесь, на улице Герцена...

Евгений Светланов, художественный руководитель Государственного симфонического оркестра СССР, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии:

— Нас забыли предупредить. О том, что зал закрывается на ремонт, сезон отменен, а мы лишаемся базы, коллектив узнал позже всех, в июне, когда мы вернулись из поездки в Японию.

Осенью мы снова уехали в большую гастрольную поездку, вернулись в начале декабря, немного передохнули и 7 декабря вышли на работу. Но Большой зал для нас теперь закрыт. Там — фирма «Мелодия». Репетировать негде. Государственный симфонический оркестр Советского Союза оказался на улице в полном смысле этого слова.

На первые два дня нас приютил Дом звукозаписи, у нас с его руководством давние добрые отношения, мы много лет работаем вместе над «Антологией русской симфонической музыки». Два дня мы поработали, а дальше-то что делать? Выходим на улицу и не знаем, где и когда будет следующая репетиция. И самое главное, где хранить инструменты. Вот до чего дошло дело. Что будет — неизвестно. Да, нам обещали базу, формально она вроде бы есть в Олимпийской деревне, но там работать на сегодняшний день просто невозможно, зал совершенно не годится для репетиций симфонического оркестра. Это еще полбеды. Самое главное в другом: в Олимпийской деревне в одном и том же помещении оказались сразу три крупных коллектива, а есть еще и четвертый, все они работают в одно и то же время. А другого выхода нет, и что же делать — никто не знает.

Ирина Архипова, председатель правления Всесоюзного музыкального общества, Герой Социалистического Труда, народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии:

— В Москве, между прочим, вообще не так много концертных залов. Потеряв Большой зал консерватории, многие исполнители в полном смысле слова остались без работы. Москва считается одним из самых музыкальных городов в Европе, но за последние годы в европейских столицах появились новые филармонические залы. Высшего класса. Таких филармонических залов, как в Кёльне, у нас, будем откровенны, просто нет. В самом деле, что мы в Москве можем предложить? Колонный зал Дома союзов? Концертный зал имени Чайковского? Большой зал консерватории? Это все, что у нас есть. А проводить серьезные международные концерты в клубах московских заводов и фабрик невозможно, они не соответствуют всем необходимым требованиям, там нет соответствующей акустики. Если дело так пойдет и дальше, то мы вскоре будем вынуждены устраивать симфонические и камерные концерты в зале «Олимпийский». Но Рихтер не будет играть на стадионе, а Николай Гедда — петь. Теперь у нас нет и Большого зала, а это значит, что в 1990 году у нас пропадет Конкурс имени П. И. Чайковского, его просто негде проводить. Это же позор на весь мир! Кроме того, в 1989 году в Москве должен проводиться Международный музыкальный фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения Мусоргского. Что делать?

И все почему? Потому, что Большой зал недолго думая и без лишних хлопот решили закрыть, воспользовавшись для этого актом десятилетней давности. В самом деле, гораздо удобнее сдавать его в аренду «Мелодии» — удобнее и выгоднее. Да, выгоднее, пора, наконец, называть вещи своими именами. Дело в том, что «Мелодия» платит немалые деньги за аренду. Это богатая организация! Платит и будет платить. Теперь поставим себя на место нового руководства: зал закрыт, хлопот нет, работы тоже нет, деньги идут. Поэтому совершенно естественно, что выводы последней комиссии для этих людей просто не существуют. Вот уж действительно: на всякого мудреца довольно простоты!

Родион Щедрин:

— Зависть нас берет, когда мы видим, какие концертные залы строятся во всем мире. В ГДР — в Лейпциге, в Берлине, в Дрездене! Японцы пришли в восхищение от зала в Лейпциге и копировали его у себя на родине. Разве мы не можем сделать то же самое? И разве наши немецкие друзья нам в этом откажут, не помогут с документацией, со специалистами, с материалами, если понадобится?

Когда вопросы касаются таких событийных решений, как закрытие Большого зала консерватории, ремонт Большого театра, с музыкальной общественностью необходимо советоваться. Всем вместе решать, всем вместе искать выход из положения. Одна голова — хорошо, а несколько голов, да еще профессиональных голов людей, которые отдали этому всю свою жизнь,— лучше. Как могло случиться, что Москва в один и тот же год теряет не только Большой зал консерватории, но и Большой театр? Нам говорят: ну что же делать, так получилось, острая необходимость, остается, мол, только руками развести. А потом приходят специалисты-строители и говорят: да ничего же подобного! Не так страшен черт, как его малюют. Вот и выходит, что просто какой-то чиновник, какой-то очередной «Главначпупс» расписался, где положено, и вся музыкальная жизнь столицы перекосилась.

И так у нас бывает очень часто! Сколько было сделано для спасения Центральной музыкальной школы, сколько об этом писали наши ведущие газеты и журналы! Не помогло. Беду не остановили. Честно говоря, руки опускаются. За семьдесят лет нашей жизни мы так и не научились старательно взвешивать все «за» и все «против», заинтересованно, а не формально разговаривать друг с другом, советоваться и только после этого принимать то или иное решение, искать его вместе. И не спешить. Работать быстро, но не спешить. Отремонтировали Колонный зал, повысили сцену на два сантиметра — акустика сломалась. Отремонтировали второй раз, еще на два сантиметра подняли сцену — акустика стала еще хуже. После двух ремонтов стало в два раза хуже. Когда-то я был на открытии Линкольн-центра в Нью-Йорке, акустика в нем, несмотря на то, что зал открылся, была признана неудовлетворительной, так потом в течение многих месяцев лучшие специалисты из Дании, Швеции, еще откуда-то пытались что-то сделать, замуровывали в стены кувшины, то есть провели колоссальную работу. Но у нас-то эту работу никто не провел. Хуже так хуже. Будем ждать следующего ремонта, поправим положение. А если не поправим? Будем откровенны: ведь то, что случилось на наших глазах с Большим залом консерватории, едва ли могло случиться где-нибудь еще. Разное, конечно, бывает, но подобное отношение к делу невозможно представить. Нанесен огромный духовный урон. Срыв концертного сезона обернулся в копеечку. На Западе умеют считать деньги и не пускать их на ветер. А вот мы — нет.

Я вот что думаю. Большой зал консерватории нужно немедленно открыть. И одновременно решить вопрос о строительстве в Москве нового, первоклассного концертного зала, не хуже, извините, чем в Кёльне. И не просто концертного, а филармонического. Такой зал Москве необходим. Кстати сказать, Большой зал консерватории строился когда-то на благотворительные средства. До сих пор целы, говорят, списки, кто из москвичей какие суммы внес. Это называется подвижничество. Слава богу, сейчас мы перестали стыдиться говорить о благотворительности. В России это была традиция. Ее стоит возродить.

Ирина Архипова:

— В Косино, теперь это уже Москва, здание старой церкви было отреставрировано руками учеников музыкальной школы, их родителей. Работы продолжались около десяти лет, но велись планомерно и целеустремленно. Теперь в здании церкви открыт концертный зал, там замечательная акустика, очень уютно, какое-то особое волнение охватывает душу. И с успехом идут серьезнейшие концерты...

Евгений Светланов:

— Давно уже пора сказать, что фирма «Мелодия» не имеет своей постоянной студии, у них нет большого зала, и они действительно вынуждены скитаться по Москве в поисках пристанища. Принималось решение: построить «Мелодии» зал. Но Госплан отказал. Что ж, может быть, действительно не хватает средств, существуют более серьезные нужды. Но в таком случае от имени Союза композиторов, музыкального общества можно бы было обратиться за финансовой помощью к крупнейшим московским заводам, фабрикам, другим организациям. Словом, деньги бы нашлись. Значит, не хватает только инициативы.

Родион Щедрин:

— Ситуация с Большим залом действительно наталкивает на многие размышления. Хватит нам скрывать наши беды. Время нынче такое, что мы можем наконец говорить открыто и обо всем.

Уверен: любую проблему можно решить. Это не просто, наверное, но можно. Так что пора, давно пора засучить рукава и браться за дело.

А начать нужно именно с Большого зала консерватории.

Разговор в редакции записали
А. ПАХОМОВА, А. КУТЕПОВ







«САЛОМЕЯ». ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВ. 1917
ПРОЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ. 1930

Начало на стр. 8.

В конце концов организм не может больше сопротивляться. Я снова проболела несколько недель. У меня сердечные боли, обмороки, и мне трудно ходить. Мне тяжело тут жить. Если бы не моя болезнь, я ушла бы куда глаза глядят... Что Вы скажете про Лиссима? Он — замечательный друг. Я скоро напишу Вашему брату и попрошу его прийти сюда. Я передам ему несколько моих картин для Вас. Несмотря на болезнь, я работала ежедневно; таким образом время проходит быстрее...»

В. А. Издебский получил позднее четыре замечательных рисунка конструктивного стиля. Теперь они принадлежат его дочери.

В конце книги «А. А. Экстер. Театральные декорации» под заглавием каждого из 15 трафаретов указано имя собственника рисунка. Я безуспешно пытался найти каждое из этих имен в телефонной книге Парижа, но встретил лишь имя пятнадцатого собственника — г-на Андрэ Болл, писателя и театрального декоратора, у него оказалась довольно большая коллекция рисунков для театра, среди которых один был подарен ему г-жой Экстер. Он был столь любезен, что продал мне его...



И. Л. ЛУБЕННИКОВ. Род. 1951. ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. 1987.

— Для меня Высоцкий прежде всего бард — композитор, певец, поэт, а уж потом артист театра и кино,— говорит Иван Лубенников (о его творчестве «Огонек» рассказывал в № 16 за прошлый год).— Фигура глубоко драматичная. Это был человек, с огромной болью, остротой реагировавший на все происходящее. Когда ваш журнал обратился ко мне и я взялся за этот портрет, писал его как бы от себя, «срисовывая» тот облик артиста, что сложился в моем сердце, в памяти.

СУДЬБУ НЕ ОБОЙТИ НА ВИРАЖЕ

К 50-летию со дня рождения лауреата Государственной премии СССР Владимира ВЫСОЦКОГО

Как же они памятны — эти 60-е, самое начало! Как мы были молоды! Каким ежедневным праздником казалась жизнь!

Теперь те годы называют временем безгласности, застоя, пришедшего на смену оттепели. Смешно и грустно, но часто слышишь такой приговор от людей, много сил положивших на воспевание тогдашних устоев и свершений.

Поэзия, за редким исключением, исполняла свое назначение говорить правду чисто номинально. И вдруг — нечто непохожее, неприглаженное, словно случайно затесавшееся в чинный, добропорядочный дом: хриплый голос, заставлявший нас вслушиваться в смысл слов, звучавших из динамиков плохоньких магнитофонов.

Помню поездку в Сибирь. К нам, москвичам, приходили спросить: чей это голос? Кто это? Поразительно, Володя только начинал писать, а здесь, «на краю края земли», уже слышали, знают, не зная — «кто».

Это был тот случай, когда захотелось вдруг снова спросить себя: что же такое поэт? И ответить: «Поэт — это тот, чья душа начисто лишена привычных нам защитных оболочек».

Это подтверждают и стихотворения, впервые публикуемые ниже.

При жизни Высоцкий увидел напечатанным только одно свое стихотворение, и то не полностью, в искаженном виде.

Литературный архив Владимира Семеновича явился подлинным открытием даже для тех, кто хорошо был знаком с его творчеством. Это серьезные опыты в прозе, поэма для детей, киносценарии. Но настоящей сенсацией стали около двухсот пятидесяти ранее никому не известных поэтических произведений. И знакомство с творчеством этого художника в полном объеме только предстоит.

Сейчас уже ни один поэт, какое бы дьявольское самомнение его ни одолевало, не посмеет публично назвать Высоцкого «меньшим братом». Наступает время серьезного изучения «феномена Высоцкого».

Появляются первые профессиональные работы крупных филологов, текстологов. Они показывают, сколь непроста природа поэзии Высоцкого, в какую новаторскую форму была оправлена суть этого явления — открытие новых законов стихосложения, сложнейшие рифмы, строфика, не встречавшаяся до этого в русской словесности. Кажущаяся простота и как бы импровизационность не позволяли нам, слушателям, потрясенным изначально лишь оголенной правдой, обрушивающейся на нас вместе с «отчаяньем сорванным голосом», заметить всю виртуозность стихотворной техники.

Впрочем, пусть об этом пишут специалисты. С Володей меня связывала многолетняя дружба, я мог бы много говорить о том, каким нежным, добрым, отзывчивым человеком он был. Но уверен: всем, кто любит его песни, стихи, это и так ясно. Высоцкий никогда ни в чем не кривил душой — ни в жизни, ни в творчестве.

Всеволод АБДУЛОВ

Владимир ВЫСОЦКИЙ

•

Я никогда не верил в миражи,
В грядущий рай не ладил чемодана.
Учителей сожрало море лжи
И выбросило возле Магадана.

Но свысока глазея на невежд,
От них я отличался очень мало:
Занозы не оставил Будапешт,
И Прага сердце мне не разорвала.

А мы шумели в жизни и на сцене:
— Мы путаники, мальчики пока!
Но скоро нас заметят и оценят.
Эй! Против кто? Намнем ему бока!

Но мы умели чувствовать опасность
Задолго до начала холодов,
С бесстыдством шлюхи приходила
ясность
И души запирала на засов.

И нас хотя расстрелы не косили,
Но жили мы, поднять не смея глаз.
Мы тоже дети страшных лет
России —
Безвременье вливало водку в нас.

1970-е гг.

О СУДЬБЕ

Куда ни втисну душу я,
куда себя ни дену,
За мною пес — судьба моя,
беспомощна, больна.
Я гнал ее каменьями, но жмется
пес к колену,
Глядит — глаза безумные, и с языка
слюна.

Морока мне с нею.
Я оком грустнею,
Я ликом тускнею,
Я чревом урчу,
Нутром коченею,
А горлом немею,
И жить не умею,
И петь не хочу.

Неужто старею?
Пойти к палачу —
Пусть вздернет на рею,
А я заплачу́.

Я зарекался столько раз,
что на судьбу я плюну,
Но жаль ее, голодную — ласкается,
дрожит.
И стал я, по возможности,
подкармливать фортуну,—
Она, когда насытится,
всегда подолгу спит.

Тогда я — гуляю,
Петляю, вихляю
И ваньку валяю,
И небо копчу.
Но пса охраняю —
Сам вою, сам лаю,
Когда пожелаю,
О чем захочу.

Когда постарею,
Пойду к палачу—
Пусть вздернет скорее,
А я заплачу́.

Бывают дни — я голову в такое
пекло всуну,
Что и судьба попятится, испуганна,
бледна.
Я как-то влил стакан вина
для храбрости в фортуну,
С тех пор — ни дня без стакана́.
Еще ворчит она:

«Закуски — ни корки!
Мол, я бы в Нью-Йорке
Ходила бы в норке,
Носила б парчу...»
Я — ноги в опорки,
Судьбу — на закорки,
И в гору, и с горки
Пьянчугу влачу.

Я не постарею.
Пойду к палачу —
Пусть вздернет на рею,
А я заплачу́.

Однажды пере-перелил судьбе
я ненароком —
Пошла, родимая, вразнос и
изменила лик,
Хамила, безобразила и обернулась
роком,
И, сзади прыгнув на меня,
схватила за кадык.

Мне тяжко под нею —
Уже я бледнею,
Уже сатанею,
Кричу на бегу:
«Не надо за шею!
Не надо за шею!!
Не надо за шею!!! —
Я петь не смогу!»

Судьбу, коль сумею,
Снесу к палачу —
Пусть вздернет на рею,
А я заплачу́.

1978

Я спокоен — Он все мне поведал.
Не таясь, поделюсь, расскажу —
Всех, кто гнал меня, бил или предал,
Покарает Тот, кому служу.

Не знаю как — ножом ли под ребро,
Или сгорит их дом и все добро,
Или сместят, сомнут, лишат свободы,
Когда — опять не знаю,— через годы
Или теперь, а может быть,— уже.
Судьбу не обойти на вираже,

И на кривой на вашей не объехать,
Напропалую тоже не протечь.
А я? Я — что! Спокоен я — по мне хоть
Побей вас камни, град или картечь.

1979.

Публикация Н. КРЫМОВОЙ, В. АБДУЛОВА, Г. АНТИМОНИЯ.

ОН НЕ ОСТАЛС



ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. МАЙ, 1980 ГОД. Этот снимок сделал и прислал в «Огонек» наш московский читатель Василий КРАВЧУК.

ОБ ОДНОМ ПОСМЕРТНОМ ВЕЧЕРЕ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО РАССКАЗЫВАЕТ ФЕЛИКС МЕДВЕДЕВ.

Старинный особняк на улице Щусева оцеплен. В дверях — жесточайший контроль. Пробиться сквозь это плотное ограждение почти невозможно. Что здесь происходит? Какая-то сверхсекретная встреча или вылавливание с поличным международного супертеррориста? Машины с дипломатическими номерами стоят прямо у входа, зато остальным водителям приказано убрать «транспортные средства» на соседние улицы. На недоуменные вопросы отвечают скупо: «Прроходи!»

За пятнадцать минут до начала перестали впускать даже с билетами, публике говорили, что зал переполнен. Я видел, как уважаемые люди, артисты, писатели, журналисты требовали пропустить их, потому что они хорошо знали человека, которому посвящена встреча, работали с ним. Я слышал навзрыдные возгласы молодого композитора: «Пустите меня, вы не имеете права, меня пригласила на вечер Его мама».

Творились странные вещи. Приказали не впускать, например, всех, кто несет гитару. Актеру Театра на Таганке Валерию Золотухину было приказано не петь. Неведомым способом прорвавшийся Николай Губенко, ныне главный режиссер Театра на Таганке, все же решился исполнить несколько песен своего друга.

За полчаса до начала меня, как организатора и ведущего, вызвал к себе в кабинет директор Центрального дома архитектора Виктор Зазулин и заговорщически произнес: «Три раза звонили, рекомендовали не проводить мероприятия. И еще я прошу, чтобы все было в порядке, в зале люди оттуда,— Виктор Георгиевич показал пальцем вверх,— понимаете, с самого оттуда...»

Наконец, когда я вышел в фойе, чтобы помочь пробиться в дом кому-то из выступающих, мне пытались преградить вход обратно. «Вы организатор этого сборища, вот вы и ответите за все, пройдемте».— И полновесный детина почти поволок меня на второй этаж поговорить. Мы поднялись...

...Когда я вышел наконец на эстраду, чтобы открыть вечер, то увидел, что зал зиял пустыми местами. Как же так? Ведь там, на улице, объявляют, что мест нет. Присмотрелся. Что за люди пришли сегодня в ЦДА? Нет, многие из них не состояли в клубе библиофилов, который организовал вечер.

О чем сыр-бор? Сарказм зачем и гнев сей? Происходившее тогда кажется диким и невероятным сегодня. И молчать об этом никак нельзя. Я вспомнил о перипетиях того дня, 9 декабря 1981 года, получив в читательской почте магнитограмму вечера, посвященного выходу в свет сборника стихов Владимира Высоцкого «Нерв». Прислала ее в редакцию Л. Г. Задорожная из Днепропетровска. Факт сам по себе поразительный. Как удалось человеку из другого города проникнуть в ЦДА и записать на пленку выступления его участников, не знаю. Знаю только, что поклонников таланта Высоцкого у нас в стране легион. И чем дальше уходит время от его кончины, тем больше и больше наших современников начинают понимать, кем был Высоцкий для миллионов людей во времена застоя.

Но кто ответит на вопрос: почему еще буквально вчера запрещали, оплевывали, клеймили все, что делал в нашем искусстве актер, певец, поэт Владимир Высоцкий, а сегодня изо дня в день в газетах, журналах, в кино, по телевидению звучит это имя, как символ того времени, которое пришло и которое он, именно он, приближал своей правдой, своим мужеством, своим талантом?

Кто ответит: почему сегодня один за другим выходят сборники его стихов, книги воспоминаний о нем, в которых описывается каждый день его жизни, Высоцкому поставят памятники, распечатают все до единой строки из его литературного наследия, мы отмечаем его 50-летие, а еще недавно, еще вчера, еще в тот вечер, 9 декабря 1981 года, творилось такое действо? Почему чиновники от культуры, «держатели и непущатели», имена которых никому не ведомы и ведомы никогда не будут, брали на себя ответственность и право сдерживать поэзию? Как сегодня они смотрят в глаза своим близким, детям, родителям, друзьям? Сегодня, когда от имени Центрального Комитета партии и Советского правительства Владимиру Семеновичу Высоцкому присуждено звание лауреата Государственной премии СССР? И не сгорят они от стыда, не покаются, не объяснят людям, истории, почему так поступали, творили неведомое? Или ведомое? И по-прежнему считают себя правыми, вершителями судеб, судьями?

Кто ответит, почему между осуждением Высоцкого и возведением его в нынешний ранг не видно зазора? Неужели мы так слепы и равнодушны?

А тот памятный вечер в клубе библиофилов Москвы «Он был поэтом по природе», посвященный выпуску книги Высоцкого «Нерв» (кстати, когда-нибудь читатель узнает, с каким драматизмом готовилась к печати эта книга, о чем мне рассказал ее редактор Виталий Мухин), вечер, от которого хозяева застоя ждали провокации, инцидента, кликушеской истерии, а может быть, и хотели этого, чтобы с еще большей яростью наброситься на уже мертвого Владимира Семеновича, прошел достойно. Он прошел очень достойно, ибо предмет разговора был достоен и благороден. Правда, директору дома объявили выговор, и в конце концов он был вынужден уйти с работы, пострадали организаторы «идеологически вредного» мероприятия. Правда, различные «вражьи» голоса получили еще одну возможность язвительного комментария о нашем отношении к творческой судьбе Высоцкого. Правда, «околодомотворческие» кумушки и кумовья еще долго резвились, пересказывая друг другу скандальные подробности, понося имя уважаемого миллионами людей певца, поэта, актера. Правда...

А сегодня хочется правды. Обо всем, о многом из нашего недавнего

Я ДОЛЖНИКОМ

прошлого. В том числе и о памятном вечере в ЦДА.

Сожалею, что не успел рассказать об этом раньше. Режиссер Марк Розовский поставил спектакль «Вечер Высоцкого в НИИ», где как бы обобщено непристойное отношение к творчеству и судьбе большого художника наших дней до великой эпохи перестройки и гласности, которую мы нынче переживаем.

* * *

Выступления участников вечера, публикуемые сегодня, несмотря на обилие статей о Высоцком за прошедшие с той поры шесть лет, ничуть не потеряли своей актуальности и свежести. Выходившие на сцену писатели, актеры, друзья Высоцкого говорили о нем вдохновенно и страстно.

Еще свежа была рана, нанесенная его неожиданной смертью. Еще не до конца сложилась в сознании людей оценка личности Владимира Высоцкого. Еще никто не предполагал, что придет время, когда он весь: как поэт, актер и бард — будет с нами.

Евгений Евтушенко:

«ПОЮЩИЙ НЕРВ НАШЕЙ ЭПОХИ»



— Жюль Ренар сказал когда-то об одном из своих французских коллег: чтобы понять, как он талантлив, нужно представить его умершим. В общем это относится к любому человеку искусства и вообще к любому человеку. Если бы в повседневной жизни люди руководствовались этим принципом, то, наверное, не было бы столь многих безвременных потерь. Но, общаясь с реальными, «живыми» людьми, мы просто забываем, что есть предел человеческих сил. Пример из жизни Маяковского. Вряд ли кому-нибудь казалось, что он умер слишком рано, в том числе и его противникам, с которыми он ссорился, на ссоры с которыми уходило огромное количество нервов, жизни, энергии. Когда в последний день жизни Маяковский лихорадочно звонил своим близким друзьям, один из них играл в карты, другой был занят, третьего не могли найти, и им в голову не приходило, что назавтра Маяковского не станет, что все может кончиться так трагически. Наверное, и той женщине, которая последней видела Маяковского живым, и в голову не приходило, когда она его покинула, что может произойти через несколько минут.

Все это я говорю потому, что каждая безвременная потеря (а у нас их было много в последнее время, вспомним хотя бы смерть Шукшина), все эти безвременные потери для нас должны быть нравственным уроком по отношению к живым людям.

Владимир Высоцкий — поэт, личность — формировался не на пустом месте. В зале я вижу молодых людей, которые, быть может, не помнят, как все начиналось. А поющий автор-поэт начинался с Булата Окуджавы. Однажды в одной студенческой компании я услышал, как запели замечательную песню «Но если вдруг на той войне мне уберечься не удастся», и тогда возникла фигура поющего поэта, непривычная для нас в то время. Если, скажем, во Франции существует Жорж Брассенс, член академии, причисленный к лику «бессмертных», то у нас исполнение песен казалось пошлостью, унижением облика поэта, и многие серьезные поэты, такие, как, например, Твардовский и Смеляков, очень сильные мастера, не знали песен Окуджавы, были возмущены самим фактом того, что поэт появился на эстраде с гитарой. Правда, с ними произошла эволюция, и впоследствии и Смеляков очень полюбил песни Окуджавы, и даже Твардовский, хотя он был весьма щепетилен в своих поэтических вкусах...

Борис Слуцкий приводит в воспоминаниях случай, когда он шел мимо одного рабочего общежития и из всех окон одновременно звучали песни Окуджавы с тогдашних плохоньких магнитофонов. Такой же случай повторился с Высоцким, кажется, на КамАЗе. Когда Володя шел к себе в гостиницу, а все знали, где он жил, в его честь выставляли магнитофоны и, приветствуя его, играли его песни. Высоцкий вырос из Окуджавы, хотя это совершенно иное явление и структурно, и эмоционально, и психологически. Володя сам говорил, что Окуджава гораздо талантливей его как композитор. Музыка у Высоцкого играла, я бы сказал, роль аккомпанемента, а гитара стала как бы вторым подобием его голоса, но у него по отношению к Окуджаве была удивительная напряженность, впитавшая в себя всю сумасшедшую гонку нашего XX века. И очень точное название его книги «Нерв», потому что Высоцкий был поющим нервом нашей эпохи, необыкновенно точно чувствующим вибрацию времени.

Если говорить о генезисе чисто литературном, то в песнях Высоцкого сочетаются два элемента, казалось бы, противоположных: есенинская линия, очень ярко выраженная, конечно, трансформированная личностью на новом историческом этапе, и сатирическая направленность Зощенко. Некоторые поверхностные любители поэзии и песен Высоцкого иногда не совсем правильно отождествляли героев его песен, написанных от лица определенных персонажей. О них, об этих персонажах, можно сказать, что это герои, описанные Зощенко, но опять-таки в новый исторический момент. И думают, что это язык самого Высоцкого, когда говорят его такого рода сатирически безжалостные герои. Я никогда не слыхал от Володи те тысячи раз, когда мы встречались, чтобы он говорил на языке своих героев или, вернее, антигероев. И все это удивительным образом сочеталось в нем с есенинской линией. Надо сказать, что я впервые понял внутреннюю взаимосвязь Высоцкого с Есениным, когда услышал, как он читал монолог Хлопуши, ибо в тот миг я вспомнил звукозапись, на которой читал стихи сам Есенин. Это было удивительное перевоплощение, момент душевных слияний Высоцкого с Есениным. Это же слияние, на мой взгляд, и в удивительно прекрасной классической песне про коней.

Популярность Высоцкого, к счастью, для него не была только посмертной. Его и при жизни очень любили. Я помню, как однажды, оказавшись далеко от Москвы, в маленьком селе, я пошел к аптекарю, смешному, чудаковатому холостяку, и он меня замучил, играя несколько часов песни Высоцкого. Я знаю многих сибирских приискателей, для которых Володя был близким другом, он пел для них, он летал к ним, они возили его на вертолете от костра к костру. Аудитория иногда составляла всего несколько человек, но Володя пел и для них. Я видел Володю на вечере во Франции, это было его первое большое выступление за границей, слушал его в Канаде, видел, как он держался, и где бы он ни выступал, перед двумя-тремя слушателями, он все равно, что называется, кишки из себя вытаскивал. Кстати, он всегда работал на полной отдаче, иначе он не мог. Потому и надорвался. Это, конечно, грустно и больно, что мы его потеряли. Но жизнь он прожил, как подобает прожить ее настоящему мужчине, настоящему поэту. Он не жалел себя. Конечно, можно искусственно распределить свою энергию, усилия, отдавать их постепенно и, таким образом, дожить до глубокой старости, сохраняя прекрасное здоровье. Но разве это жизнь?

Сейчас, когда его нет, образовалась какая-то пустота. Но голос его «книжно» размноженный — вот книга вышла тиражом 55 тысяч, тираж, конечно, маленький, надеюсь, она будет переиздана, будут изданы и другие его стихи. Но он сам себя напечатал миллионными тиражами на магнитофонных пленках и пластинках. Это такой редкий случай, когда поэт сам стал издательством, прежде чем вышла его книга. Конечно, было бы радостней, если бы премьеру этой книги мы праздновали в его присутствии, но... Думаю, что о Высоцком будет много написано. Хочу только сказать, что существует понятие «русская национальная культура», существует понятие «мировая культура». Я убежден, что частью мировой культуры становится только то, что имеет свои глубокие национальные корни. Мы с вами с детства не любили бы книги Марка Твена, если бы они не были чисто американскими книгами. Мы бы никогда не любили так Сервантеса, если бы он не был настоящим испанцем, и никогда бы люди всего мира не преклонялись перед Толстым, Достоевским, если бы они не были настоящими русскими. У каждого есть, конечно, свой удельный вес в истории культуры, отечественной и мировой, но я абсолютно убежден, что имя Высоцкого, все то, что он здесь, на нашей земле, сделал, является неотъемлемой частью нашей национальной культуры, и именно поэтому он уже становится частью мировой культуры, той культуры, которая составляет нравственный воздух человечества.

Юрий Карякин:

«ПЕРЕБОЛЕВШИЙ БОЛЯМИ И НАДЕЖДАМИ»



— Никак не избежишь искуса определить значение Высоцкого каким-то одним словом, и каждый раз получается новое слово, и ты понимаешь, что оно не исчерпывает всего, и вот сегод-



В РОЛИ ГАМЛЕТА. Фото Александра ШПИНЕВА

ня у меня искус — я бы его выразил словом «доверие». Люди к Высоцкому испытывали доверие, знали, что он не выдаст, не продаст, не соврет. Чем это можно объяснить? Беспощадностью его к себе и — доверием к нему оттого, что он умел и хотел вживаться в душу каждого из нас. Отсюда и безоглядность ответного доверия, которое он заслужил.

По-моему, Высоцкий, как и всякий художник, дает основание для определения таланта, которое я попытаюсь дать и которое не претендует отнюдь на академизм, и если претендует, то на антиакадемизм: талант — это просто ненависть к собственной бездарности, умение ее вытравлять, умение себе в этом признаться. Беспощадность Высоцкого, на которую мало кто способен — признаться в этом и себе, и особенно другим,— это и есть уже одоление бездарности и нравственной, и поэтической, и победа над ней. Вспомним: «И строк печальных не смываю».

...Тема смерти у Высоцкого — это тема не кладбищенская, это тема жизни. Художников, писателей часто упрекают в том, что они оторваны от жизни. Но, по-моему, они оторваны от смерти, без ориентации на которую, без памяти о которой не может быть никакой нравственности, никакой совести. В искусстве поэта Высоцкого не апокалипсические мотивы, если хотите, не художественное слово, а деловой отчет перед людьми, перед народом своим, перед будущим. Под этим углом нужно читать его стихи: Хочу высказать парадоксальную вещь: мне кажется, что ни юмор, ни сатира, ни зубоскальство, ни хохотушки, а настоящий заразительный смех невозможен без понимания того, что каждый из нас смертен. Сошлюсь на высокие ориентиры:

День каждый, каждую годину,
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать!

Мне даже кажется, что ни художник, ни поэт, ни человек настоящий невозможен без видения своей смерти, без предчувствия ее.

И еще вот о чем хочется сказать: я ни на ком, ни на ком так физически, как на искусстве Высоцкого, воочию не почувствовал давно предчувствовавшуюся мысль, что чистое, самое чистое явление в жизни и в искусстве растет из нечистого, из одоления его. И не залпом это рождается, не сразу, а бесконечной работой, страстью работы. Высоцкий, насколько я знаю, не отказывался ни от какой работы, и уже боясь славы, которая его сопровождала, мешала ему, он все равно не отказывался ни от встреч с людьми, ни от работы, ни от чего...

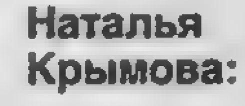
Он встречался с людьми и не боялся этих встреч не только по причине душевной щедрости, но, если хотите, по причине душевной надобности, потому что в этих встречах, в этой работе он не только отдавал себя, но и фантастически много брал, чтобы потом снова отдавать...

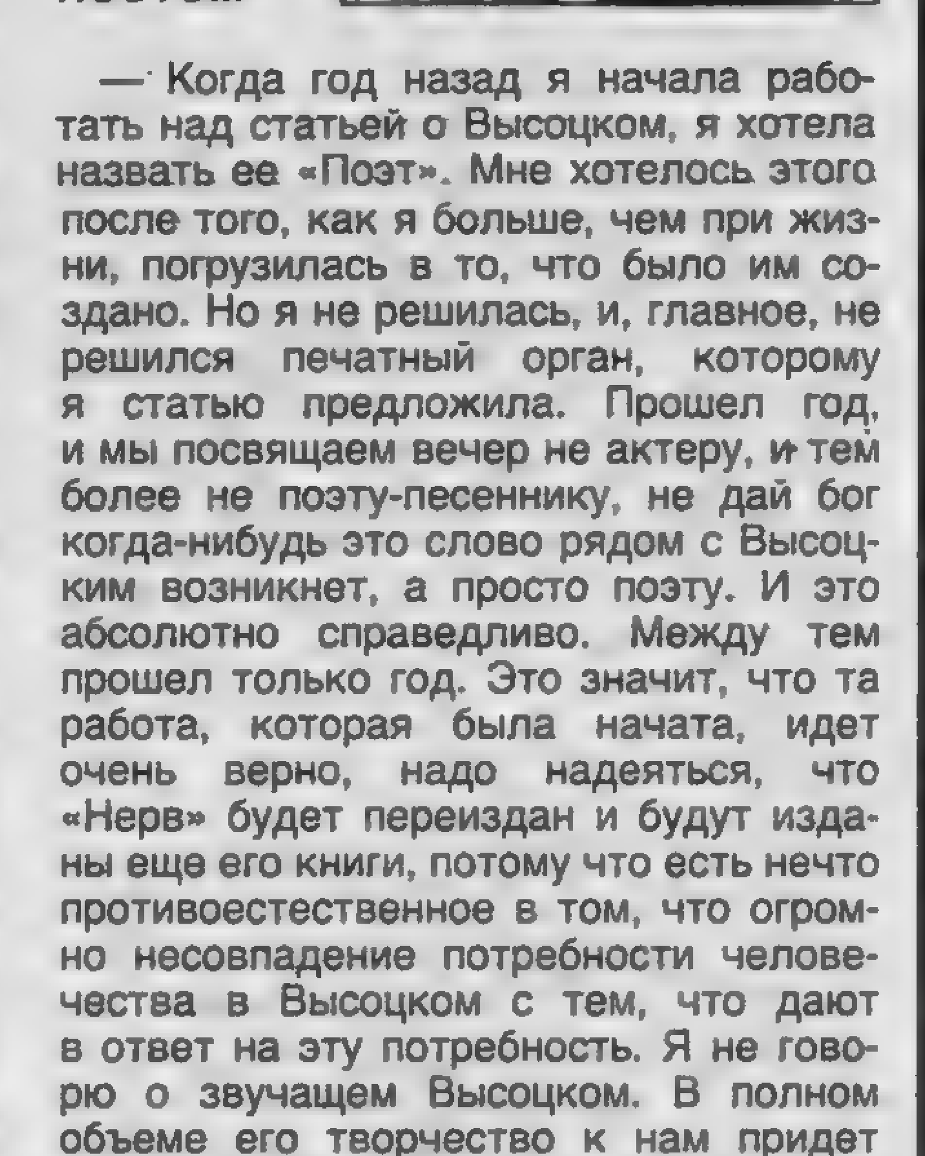
Да, прав Евтушенко: Высоцкий — явление национальной культуры самого высокого класса.

При всем сарказме, при всей беспощадности к злу Высоцкий в поэзии и в жизни был органически верен тому, что было сказано Пушкиным: «Милость к падшим призывал» — и Достоевским: «Жалость, не изгоняйте жалость из нашего общества, потому что без нее, без жалости, оно развалится». Мало кто напоминал и напоминает нам сейчас об этих, может быть, коренных устоях русского национального характера. Это беззаветность Стеньки Разина и Хлопуши. Это жалость человека, переболевшего всеми страхами, болями, надеждами...

И последнее: я думаю и не могу это скрывать, что в любви, а несомненно, что Володя любил, в любви нужно быть потише, и настоящая любовь она очень тихая и не кликушеская.

И еще — не будем забывать об одной простой вещи: современники себе не судьи. Может быть, мы еще не представляем, я даже убежден в этом, всех масштабов того явления, которое пронеслось перед нами, и я уверен: все еще впереди.





Наталья Крымова:

«ОН БЫЛ ПОЭТОМ»

— Когда год назад я начала работать над статьей о Высоцком, я хотела назвать ее «Поэт». Мне хотелось этого после того, как я больше, чем при жизни, погрузилась в то, что было им создано. Но я не решилась, и, главное, не решился печатный орган, которому я статью предложила. Прошел год, и мы посвящаем вечер не актеру, и тем более не поэту-песеннику, не дай бог когда-нибудь это слово рядом с Высоцким возникнет, а просто поэту. И это абсолютно справедливо. Между тем прошел только год. Это значит, что та работа, которая была начата, идет очень верно, надо надеяться, что «Нерв» будет переиздан и будут изданы еще его книги, потому что есть нечто противоестественное в том, что огромно несовпадение потребности человечества в Высоцком с тем, что дают в ответ на эту потребность. Я не говорю о звучащем Высоцком. В полном объеме его творчество к нам придет в печатном виде. Как об этом он и мечтал.

Что такое поэт? Непростой вопрос, и на него очень трудно ответить. У нас огромное количество поэтов, и мы любим повторять, чтобы лучше их было больше, хороших и разных, не очень понимая, что Маяковский нам сказал этими словами. У нас много пишущих, но мало поэтов. На памяти моего поколения не было человека, на которого бы так откликнулась публика, как на Владимира Высоцкого. Так откликнулась, с таким доверием отнеслась, с такой любовью и печалью проводила бы с этой земли. Значит, он был поэт. Поэты, которые судили о нем при жизни, будут делать некоторую поправку в своих суждениях, очевидно, потому, что столь массовый отклик человеческий эту поправку сам собой производит. Я думаю, что в понятие поэта и поэзии, если можно так сказать, входит ощущение простейших вещей, таких, скажем, как ощущение Долга, Вины, Совести, Греха, то есть очень простых истин, но во многих поэтах это ощущение просто не живет.

Маяковский и многие другие писали о том, что они должники. У меня такое чувство, что Высоцкий должником не был. Он долг свой выполнил полностью. Что же касается вины, то, я думаю, поэт должен ощущать свою вину постоянно, и он, Высоцкий, ее ощущал постоянно и как поэт и как человек. Я думаю, чувство вины рождается в нас, когда мы бессильны что-либо сделать в то время, как творится что-то ужасное. Это очень нормальное, чисто человеческое состояние легко переходит в состояние поэтическое. Этим состоянием пропитано все творчество Высоцкого. Я не знаю точно, что вошло в книгу «Нерв», я еще не держала ее в руках. Меня взволновало другое: мне рассказали о том, что за рубежом вышла другая книга Высоцкого. Это больно. В ней столько вранья и в фактах, и в текстах, и в комментариях. Тексты книги «Нерв» взяты из первоисточников, и обходились с ними, надеюсь, бережно. Выход книги — наша с вами гордость.

Пусть эта небольшая книжка прорвется к людям. В ней нет вранья, как нет вранья во всей жизни Владимира Высоцкого.



ЭТО БЫЛИ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ВЫБОРЫ: ИЗБРАНО 83 АКАДЕМИКА И 172 ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА (НА ПРОШЛЫХ ВЫБОРАХ ЭТИ ЦИФРЫ СОСТАВЛЯЛИ СООТВЕТСТВЕННО 55 И 112). ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ ПРИБЛИЗИЛОСЬ К ТЫСЯЧЕ. ПРИМЕРНО НА ТРИ ГОДА ПОНИЗИЛСЯ СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ.

ВСЕ ЛИ, ОДНАКО, ВЫЗЫВАЕТ ТУТ ЧУВСТВО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ?

Олег МОРОЗ



накомая картина: мальчишка пускает по ручью бумажные кораблики. Плывет-плывет кораблик, и вдруг его куда-то понесло-понесло, повлекло куда-то вбок, а после назад. Как раз на самой быстрине. Так и в общественной жизни бывает: основное движение набирает скорость в одном направлении, а по бокам — вроде бы ни с того, ни с сего — вдруг возникают противопотоки.

Начну с малого. В прежние годы, о которых сейчас принято отзываться неодобрительно, перед выборами в Академию наук в «Известиях» печатался список претендентов. Всякий, увидя его, волен был высказывать свои соображения (другой вопрос — учитывались ли они). Как ни странно, в этот раз ничего такого не было, хотя выборы предстояли необычные. Как же так? Вроде бы — гласность*.

Видимо, руководители академии заметили — или кто подсказал — нелепость ситуации: по всей стране гласность увеличивается, а в академии сокращается. По итогам выборов провели пресс-конференцию. Раньше такого не случалось. (Но все же такая вот гласность задним числом вряд ли заменит подлинную гласность.)

Хотя особой информации о выборах не было, в печати появилась критика в адрес троих кандидатов в академики. Результат — все трое были провалены.

Так что, с одной стороны, суждения общественности вроде бы чутким ухом улавливаются. С другой же... В нескольких выступлениях на общем собрании прозвучало недовольство публикациями и требование оградить выборы от вмешательства «внешних сил», от «внешних влияний». Передавая эти настроения, президент академии Г. И. Марчук в беседе с корреспондентом ТАСС сетовал, что публикации в прессе отрицательно воздействовали на заключительный этап выборов, затрудняли обсуждение, мешали принятию объективных решений. Президент считает, что общественные обсуждения уместнее проводить на ранних этапах выборной кампании.

Какие же тут, однако, обсуждения, когда даже список кандидатов не публикуется? Что, спрашивается, обсуждать? Неизвестна и дата выборов — какие этапы ранние, а какие поздние, ведомо это лишь чиновникам академии. Вся гласность — для служебного пользования.

Когда говорится «пресса», читатель так понимает: журналисты. Да и сам тон, которым прессу отчитывают, к тому располагает — кого, как не журналистов, было принято за вихры таскать. Но ведь с критикой академических выборов выступали главным образом сами же ученые — профессора, члены-корреспонденты, академики. Так что пресса-то пресса, да кто в прессе? Хорошо бы и это уточнить.

Но даже если бы не академики писали, а кто-то другой — что в том плохого? Следует ли по-прежнему воздвигать бетонную стену между академией и общественностью?

Наконец, что из того, если и перед самым голосованием в печати прозвучит критическое слово о ком-то из кандидатов? Нам говорят: уже нет времени разбираться, что в критике соответствует действительности, а что нет. Как же так — столько раз мы слышали, что все кандидаты прекрасно известны голосующим, что они проходят тщательнейшую экспертизу. В том-то и дело, что в ряде случаев члены академии совсем не знают, за кого голосуют...

Кстати, об одном из проваленных печать писала задолго до выборов. Я имею в виду президента молдавской Академии наук А. А. Жученко, который баллотировался в академики «большой» академии. В «Литературной газете» ему был предъявлен обоснователь-

* Точности ради надо сказать, что список все же был опубликован — в ноябрьском (!), то есть перед самыми выборами — номере малотиражного «Вестника Академии наук СССР».— **Авт.**

ный счет как одному из деятелей, ответственных за экологические беды республики. «И земля, и вода наша перебывали у него в руках,— говорилось в одной из публикаций.— После тридцатилетних трудов содержимое рек и водоемов непригодно не то что для питья — они даже для полива не годятся...» Как видим, самое время выбирать такого человека в академики.

Так что нельзя сказать, что печать выступала лишь непосредственно перед выборами. Но если критика игнорируется, пропускается мимо ушей,— что тогда прикажете делать? В «Огоньке» появилось письмо академика А. В. Иванова, члена-корреспондента АН СССР Ю. И. Полянского и других ученых, в котором говорилось, что, несмотря на критику, Жученко продолжают тащить в академики; между тем как генетик он не известен ни в Союзе, ни за рубежом. Аналогичное письмо за подписью двух академиков было зачитано непосредственно перед голосованием на общем собрании академии.

Вот такие вот «внешние силы» и «внешние влияния».

О другом кандидате — философе М. Н. Руткевиче — написали в «Советской культуре» академики Т. И. Заславская, А. М. Румянцев, О. Т. Богомолов и другие ученые. «М. Н. Руткевич, назначенный в 1972 году директором Института конкретных социальных исследований (ныне ИСИ),— говорилось в публикации,— произвел подлинный разгром нашей социологической науки... Институт... до сих пор не оправился от удара».

Тоже неплохая аттестация для кандидата в академики. Один разрушает природу, другой — науку.

И лишь про третьего, позднее забаллотированного — директора петропавловск-камчатского Института вулканологии С. А. Федотова — критическое слово сказала в «Московских новостях» журналистка Евгения Альбац. Но и она в своей критике опиралась на свидетельства специалистов — почему-то они не были учтены при «тщательнейшей экспертизе», которой подвергают претендента на академическое звание. Речь шла об атмосфере, созданной директором в руководимом научном учреждении. «...В худшие годы застоя,— писала журналистка,— мне не приходилось видеть такого страха и слышать о таком беззастенчивом преследовании за критику, как увидела и услышала сейчас в Институте вулканологии АН СССР».

При всем при том эти убийственные газетно-журнальные аттестации никакого особенного впечатления на академиков не произвели — довольно сказать, что за двоих проваленных голосовало все-таки большинство (чтобы набрать проходной балл, требуется две трети голосов), и я не удивлюсь, если на следующих выборах по крайней мере эти двое обретут искомое звание.

Многими своими чертами нынешняя академия напоминает закрытый аристократический клуб. Академики выбирают сами себя... Что бы вы сказали, если бы депутаты Верховного Совета, собравшись в кружок, судили да рядили, кем бы пополнить свои ряды взамен убывших естественной убылью? А обсудив, определив достойных, сами же их выбирали? Нет, такого и представить невозможно. Депутатов выбирает народ. Другое дело, что и тут много чего есть улучшать и усовершенствовать — о том повсюду сегодня говорят. Но это все же не странные самовыборы, как в академии.

Давно уже ученые ставят вопрос: выбирать в академию путем широкого обсуждения по институтам (а не только на ученых советах), так чтобы все специалисты — научный демос — могли сказать свое слово, а самые компетентные — допустим, доктора наук — приняли бы участие и в голосовании. Но в академии этих предложений не слышат. Там как-то по-своему понимают демократию.

Да что доктора — при выборах в академики даже членкоров отодвигают в сторону, точно школьников. Не позволяют голосовать.

И что получается? В стране десятки, сотни генетиков, но выбрать единственного академика по специальности «генетика» почему-то поручают шестерым, большей частью пожилым людям,— отделению общей биологии, из которых только один генетик, а другие — биологи, зоологи, ботаники... И это считается великолепно продуманным, почти идеальным порядком, едва ли не полностью исключающим возможность ошибки.

Нет, нет, не говорите мне, что далее следует голосование на общем собрании. Как раз тут — самая странная часть выборной процедуры.

Едва речь заходит о необходимости демократизировать выборы, мы сразу же напарываемся на слово «некомпетентность». «Ну, что могут сказать рядовые научные сотрудники? Компетентны ли они? Выборы — дело специалистов высшей квалификации». Позвольте, позвольте, разве специалисты сейчас выбирают? На общем собрании философы голосуют за химиков, экономисты — за биологов, физики — за историков... Ничего себе специалисты!

Один из журналистов рассказывал про подслушанный им случайно на выборах разговор двух академиков, обсуждавших, надо ли голосовать за своего вновь вступающего коллегу (в прошлые годы было дело): «А он за Лысенко или против? Против? Тогда хорошо...» Против Лысенко — это, конечно, хорошо, но маловато, чтобы стать академиком. Слава богу, речь шла о действительно прекрасном ученом — Борисе Львовиче Астаурове.

На пресс-конференции журналисты спросили Г. И. Марчука, правильно ли это, что решающее слово о кандидате произносит столь разношерстный состав научных работников, не способный оценить его как специалиста. Президент академии твердо ответил: «Правильно. Общее собрание всесторонне рассматривает кандидата...,— он сделал ударение на слове «всесторонне».— И кроме того, мы доверяем друг другу в оценках. В этом смысл сообщества академиков».

Но ведь это и есть принцип закрытого клуба. Мы доверяем друг другу, и баста! И никаких логических аргументов далее не требуется. Мы — это те, кто входит в наш тесный круг, в наше избранное сообщество.

На отделении общей биологии за Жученко проголосовало четверо, против — двое. Убедительное ли это голосование? По-моему, совсем не убедительное. Однако ничто уже не могло бы помешать ему стать академиком, если бы не вмешательство «внешних сил».

Если вы полистаете газетные публикации прошлых лет, вы найдете в них огромное количество критических публикаций по науке. О чем только в них не говорится — о монополизме, о притеснениях слабых сильными, о перерождении исследователей в бюрократов, о победном нашествии прохиндеев и бездарей, о нулевой отдаче многих лабораторий и даже институтов... В то же время едва ли вы найдете хотя бы одну критическую публикацию непосредственно об Академии наук. Так что же, в целом положение в науке неважное, а в академии все великолепно? Да нет, так не бывает. Дело не в отсутствии недостатков, а в отсутствии гласности.

Взять те же выборы. Все, кто имеет к ним хотя бы отдаленное отношение, прекрасно знают, каких трудов стоило многим претендентам приобретение необходимой поддержки среди выборщиков. Тут и обхаживания, и уговоры, и улыбки, и застолья, и подарки, и услуги, большие и малые, и обмен голосами, и прямое давление академического и иного начальства... Не станем лицемерить, уверять, что ничего этого не было. Так что же, все это мгновенно кануло в Лету, осыпалось, словно с дерева листва? Так тоже не бывает.

Но вот, наконец, появилось и об академии несколько критических статей. Надо сказать — средней критической силы и больше по частностям. И тут же — встречная нетерпимая реакция: «Критика некомпетентна! Защитите от внешних влияний!» Нет, не привыкли мы к гласности. Известный тезис об отсутствии зон, закрытых для критики, мы принимаем теоретически, но сами для себя стремимся такую зону выгородить.

Об уровне гласности в академии можно судить хотя бы по такому факту. Как-то мы решили подготовить репортаж о работе президиума академии. Заручились согласием тогдашнего президента А. П. Александрова, главного ученого секретаря Г. К. Скрябина. Тем не менее, академические чиновники благополучно провалили эту затею, перепасовывая корреспондента друг другу, требуя все новых и новых разрешений и т. д. А ведь этот репортаж задумывался как сугубо положительный и хвалебный. Можете себе представить, что было бы, если бы мы захотели собрать материал для критического выступления.

Даже на выборном общем собрании журналистам присутствовать не полагается. Если уже мы с американцами договорились пускать друг друга на позиции стратегических ядерных ракет, может быть, пришла пора и корреспондентов допускать на академические выборы? Все-таки свои.

Говорят, все упирается в устав — не предусматривает он присутствия посторонних. А устав-то кто принимает? Боги? Боги не боги, но, видимо, люди, ощущающие себя олимпийцами. Лозунг «Больше света!» пока что в академии не популярен.

На встрече с журналистами Г. И. Марчук сетовал: когда ожидается присуждение Ленинских и Государственных премий, пресса не жалеет восторженных слов о соискателях, а тут, перед выборами в академию,— только критика; хоть бы одна статья была написана в поддержку кого-то.

Что тут сказать? Если бы я, газетный редактор, вздумал напечатать такую статью и уведомил бы того, о ком эта статья написана, думаю, он встал бы передо мной на колени: «Ради бога!!! Не надо!!!» И свою собственную статью, если бы она случаем оказалась в редакции, попросил бы придержать, пока не пройдут выборы. (Правда, бывали случаи, если статья уже на выходе, автор наспех придумывал себе псевдоним или подписывал его именем доверенного сотрудника). Эту картину я наблюдаю от выборов к выборам в течение многих лет. «Не возникать» — вот общий лозунг предвыборного академического периода. Всякое «возникновение» прямо ведет к потере голосов. Кто вовсе с этим не склонен считаться, многим рискует.

Это еще один штрих, показывающий отношение к гласности в академической среде.

Президент академии Г. И. Марчук щедро одаривает своих коллег эпитетом «выдающийся». И этот академик выдающийся, и тот... Кому-то, наверное, это нравится.

Вообще-то такие эпитеты соответствуют принятой терминологии. БСЭ, например, аттестует Академию наук как объединение «наиболее выдающихся» ученых. То же и с другими академиями: в ВАСХНИЛ — «наиболее выдающиеся», в критикуемой ныне повсюду Академии педнаук — опять «наиболее выдающиеся»... Не повезло лишь медицинской академии — там, по чьей-то редакторской прихоти, всего лишь «наиболее крупные».

Но если говорить серьезно — так ли уж много выдающихся? Ведь есть же общепринятые критерии — и международные премии, и индекс цитирования, и многое другое... И по премиям, и по цитированию, и по всеобщему признанию далековато нам до первых мест. Так что же теперь, учредить собственные, «для внутреннего пользования» критерии, по которым определять выдающихся? Кажется, этой болезнью мы уже переболели. От самих же академиков, кто реально смотрит на вещи, приходилось мне слышать, что в составе академии немало людей, ничего из себя в науке не представляющих.

Нынешние выборы несколько понизили средний возраст академии. Есть ли, однако, основания считать, что они сильно повысили ее средний научный уровень? Ныне считается аксиомой: не может без демократии и гласности эффективно работать ни один общественный институт. Институт выборов в Академию наук тут не исключение.

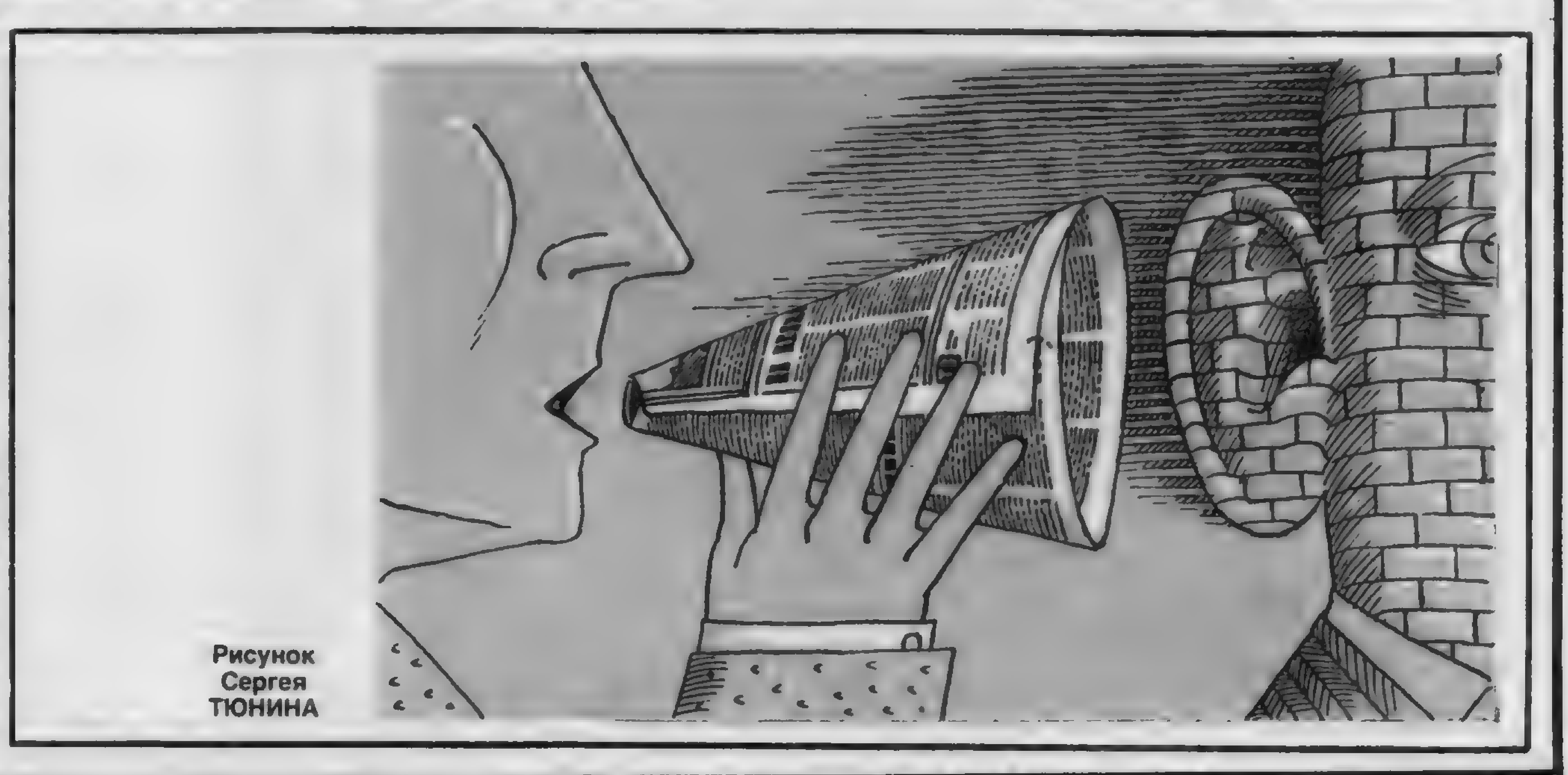


Рисунок Сергея ТЮНИНА

БОРМОТУХА

Александр МЕЖИРОВ

I

Плацкартный... Бесплацкартный... на поминки...
И на крестины... и за колбасой...
И даже просто так... и без запинки
Стучат колеса Средней полосой.
И по лимиту... или без лимита...
И даже просто так... невпроворот
Народу... и случайно приоткрыта
Дверь в зимний тамбур... там любой народ...
Любой народ — народ не без урода,
Но целиком, на уровне народа,
Народы милосердны. А толпа
На уровне толпы, всегда жестока,—
Готова растоптать ее стопа
Не только ясновидца и пророка.

Ты — из толпы. И спросится — с тебя...

Я из толпы — и мне знакомы лица
Сулящие и свару и возню,
И злая жажда самоутвердиться,
В которой, прежде всех, себя виню.

II

Когда религиозная идея,
Которую никто не опроверг,
Устала, стали, о Христе радея,
Низы элиты подниматься вверх.

III

Не из народа, из низов элиты
Исчадье розни и возни ползло,
Когда из грязи в князи сановиты,
Низы элиты выявляли зло.
Великие традиции оплакав,
Из глубины идущие веков,
Сперва безгрешней были, чем Аксаков,
Киреевские или Хомяков.
Все было так. Но не прошло и году,
У логики вещей на поводу,
Единственной реальности в угоду,
В Охотном оказалися ряду.
Через плечо заглядывая в книжки,
Разлитьем озаботилися вдруг,
Леонтьева читая понаслышке
И Розанова из десятых рук.



IV

Когда в когда-то новые районы
Пародия на старые салоны
Пришла в почти что старые дома
И густо поразвесила иконы
Почти что византийского письма,—
В прихожих, где дубленки из Канады,
Заполыхали золотом оклады,
Не по наследству, скромному весьма,
Полученные вдруг — а задарма,
Они из ризниц, может быть, последних,
Висят не в спальнях даже, а в передних
Иконы эти, эти образа.
Там лейб-маляр, плутишка лупоглазый,
Бросал на холст валютные размазы,
В один сеанс писал хозяйке хазы
Почти что византийские глаза.
И помавая шеей лебединой,
В другом салоне и в другой гостиной,
Вприпляс рыдала — глаз не отвести,
Зовущая Цветаеву Мариной,
Почти в опале и почти в чести.

V

И превратились похороны в праздник —
Поминки перешли в банкетный зал,
И не Преображенец, а лабазник
Салоны политесу обучал.
Пред ним салоны эти на колени
Вповал валились, грызли прах земной,
В каком-то модернистском умиленьи
Какой-то модернистской стариной.
Радели о Христе. Однако вскоре
Перуна Иисусу предпочли,
И с четырьмя Евангельями в споре,
До Индии додумались почти.
Кто увлечен арийством, кто шаманством,
Кто в том, кто в этом прозревает суть,—
Лишь только б разминуться с христианством
И два тысячелетья зачеркнуть.
А смысл единый этого раденья,
Сулящий только свару и возню,
В звериной жажде самоутвержденья,
В которой, прежде всех, себя виню.
А если я и вправду заикаюсь,
Как Моисей, то вовсе отыми
Дар речи, ибо не пред богом каюсь,
А только перед грешными людьми.
И прежде всех виновен в полной мере,
Ах, люди-звери, вместе с вами я...
Ах, не сужу... У приоткрытой двери
Уже стоит Всевышний Судия.
И по лимиту... или без лимита...
И даже просто так... невпроворот
Народу... и случайно приоткрыта
Дверь в зимний тамбур... там любой народ...
Командировка... срочное заданье...
Уют купейный, чаем знаменит...
Как вдруг, по ходу поезда, в стакане
Казенным звоном ложечка звенит...

VI

Как вдруг на узкой полке, в темноте,
Я усмехнулся: что мне толки те...

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Никак не могу привыкнуть к новому названию давней работы Александра Межирова.

«Проза в стихах», поэма — так она раньше называлась — дала имя межировскому сборнику (1982), удостоенному впоследствии Государственной премии СССР. Но, странная вещь, поэма сама в этот сборник не попала, чтобы принципиально иным вариантом, летучей тенью скользнуть по страницам мало кем, боюсь, прочитанного тома грузинских переводов и стихов Межирова «Теснина» (Тбилиси, 1984).

Не могу — пока что — привыкнуть и к новым поправкам, пропускам в тексте, сделанным рукою самого мастера. Что ж, поэт всегда прав. Тем более, что от версии к версии не туманнее, а отчетливее становится гражданская позиция Межирова в сегодняшних спорах, его, как сказали бы в старину, символ веры.

О чем споры?

Вот именно, что о вере и безверии. О том, что с нами происходило и, увы, происходит в дни, когда в душах многих и многих соотечественников померк свет идеала и подлинные ценности заместились фальшивыми, зато соблазнительными своей общедоступностью. О том, «куда ж нам плыть?..» — к мертвящему национально-культурному изоляционизму, обрубанию связей с мировой культурой и гуманистической, испытанной двумя, как минимум, тысячелетиями моралью или ко все большей духовной раскрытости и раскрепощенности, к единению и братству, к тому, что Достоевский называл «всемирной отзывчивостью» русской души и русской литературы...

Межиров — как и почти все другие большие художники современности — долго держался в стороне от этих споров. Частью в силу естественного для русского интеллигента нежелания даже ради благого дела вступать в «свару и грызню». Частью оттого, что не было возможности высказаться впрямую, назвать вещи их собственными именами. А главное, я думаю, надеялся, как надеялись многие, что опасная блазнь моральной нечистоплотности, вседозволенности и закусившего удила национализма схлынет сама собою, едва пойдут благотворные, так долго всеми нами ожидавшиеся перемены в стране.

Расистская по своему существу одурь — прочитайте кое-какие публикации, прислушайтесь к толкам на сборищах «неформалов», да и в кулуарах Дома литераторов — не схлынула. В обстановке гласности страсти, напротив, стали накаленнее. То, что было (или казалось?) чистым, хотя и всегда своекорыстным витийством, усладой полупросвещенных умов, выплеснулось в массовую моду, а от нее — как бывало уже и у нас, да и за нашими рубежами — рукою подать до «охоты на ведьм».

Молчать в такой взрывоопасной ситуации преступно.

И давно написанная, многократно уже и на «огоньковской» полосе перерабатывавшаяся, уточнявшаяся поэма поэта-фронтовика Александра Межирова звучит сегодня как будто только что рожденная, вызванная сиюминутным поводом реплика в жарком споре, который, возможно, еще и потому так обострился и так замутился, что авторитетнейшие наши писатели слишком долго либо молчали, либо не могли с необходимой резкостью и прямотой высказаться об этой вызревшей в годы застоя нашей боли и нашей беде.

Она звучит предостережением: устыдитесь союза с «лабазниками» и «охотнорядцами», бойтесь оказаться «у логики вещей на поводу», ибо если сон разума порождает чудовищ, то сон совести перерождает самые святые, чистейшие понятия и ценности в их прямую, отвратительную противоположность: веру — в суеверия, убеждения — в предрассудки, гордость своей историей и своей принадлежностью к великому народу — в национальный эгоизм и великодержавное чванство, а духовное единство — в биологическое родство по группе крови...

— Опомнитесь! Опамятуйтесь! — говорит поэт, и говорит он это не только с тревогой, но и с чувством вины, со стыдом и болью, ибо не к чужакам ведь обращено его слово, а к своим, «родимым» современникам и соотечественникам.

И слово это, выдохнутое поэтом с безбоязненной искренностью, должно быть, я уверен, и услышано, и понято верно.

Сергей ЧУПРИНИН

Начало на стр. 14.

«НЕТ, НЕТ, ПО ДОРОГЕ ТАМОЖЕННИКИ...»

систем, а тут вдруг является какой-то самодур из деревни... Ну, конечно, смешно! А вместе с тем это так...

И вдруг эта мягкая, осмысленная и горькая речь сменилась исступленным полушепотом.

— Когда человек убивает — он вне себя. И убив — опять вне себя. Я видел их много. Наказания тут совершенно бессмысленны. Все существовавшие до сих пор наказания... Вместо этого надо поступать очень просто. Удивительно просто... Оставлять убийцу наедине с убитым. На неделю, на две. Чтобы были вдвоем. Заставить держать на руках. Привязывать к трупу. Страшнее не может быть... Отвращение, ужас... Разлагающееся мясо с живым. Переживет, перечувствует, передумает больше, чем за годы тюрьмы. И ее потом вовсе не надо будет. Никогда уже больше не пойдет на такое... И вообще никто не пойдет на такое... Расстрелом и виселицей можно рискнуть. Этим нельзя рискнуть... Этим невозможно рискнуть...

Все, что старик говорил до сих пор, было неожиданно и все же разумно. Но когда я услышал теперь это совершенно неслыханное, это невероятно-бредовое, потрясающее и жутью своей, и страстным, яростным шепотом, каким было высказано,— мне стало не по себе... Был ли то холод, задышавший в горах вместе с окутавшей их темнотой, или холодок, побежавший по коже от речей маньяка, но я вдруг осознал, что нахожусь с ним вдвоем среди ночи вдали от людей, в поднебесье, в незнакомой стране... Захотелось сейчас же на люди, на свет, в город, нет, просто домой.

А он, ничего не почуяв, продолжал той же отрывистой бессвязной скороговоркой:

— Мальчишка — лавочника перочинным ножом. А вся выручка была триста шиллингов... Одинокую пенсионерку ее постоялец — руками. Горло сдавил... Парень другого пивной кружкой по черепу. Мозг брызнул на стену... В позапрошлом году один мюнхенец тринадцатилетнюю девочку здесь... Как она была хороша! На моих глазах поднялась. Накануне происходила ее конфирмация. В бело-розовых кружевах, в серебряных туфельках... Мейсенской статуэткой была... Стройненькая, полная жизни, счастливая... Он увлек в лес, потом задушил... Надо было снять маску, из кожи чучело сделать и поставить в мюнхенском доме... Чтобы родителям его, родным, знакомым, всей улице статуэтка жить не давала. Чтобы молодежь этой улицы, подрастая, знала о ней... Щенок, играясь, задирался к корове. Она лягнула. Копытом в висок. Я привязал этот трупик. С ней началось небывалое. Никто еще не видел у коровы отчаяния. А я вот видел. Бывает у животных шизофрения? Наш ветеринар не слыхал. А эта корова впала в шизофрению. Да, впала!.. Однажды мне удалось с человеком. Моего двоюродного брата отравила жена. Месяц клала ему что-то ядовитое в пищу... Я был тогда еще крепок, сумел свалить эту женщину на кровать рядом с ним, привязать, повернуть труп к ней лицом... Через час, когда дом заполнили люди, она билась, как эпилептик, все рассказала... Но надо, чтоб долго. Чтоб кожа к коже. Чтобы кожей ощущалось гниение. Чтобы некуда было от этого деться...

Я почувствовал, что мне тоже некуда деться.

— Идемте! — вскричал я.— Идемте скорей. Мне стало отчаянно холодно.

Канатная дорога уже не работала. Я бросился вниз по тропинке, и он едва поспевал за мной. Не знаю, как я тогда не сорвался...

— Вы хотели искупаться,— предложил он, когда мы уже были внизу, у небольшого, ухоженного и, видимо, очень теплого озера. Но сейчас оно не прельщало меня...

— Нет, нет, я продрог...

Дома он заварил крепкий кофе. Приходилось дожидаться утра... Он расставил для меня раскладушку, но я знал, что не сумею заснуть здесь, не стал ложиться и нетерпеливо глядел в окошко, чтобы забрезжило... И опять он говорил... Уже не теми лоскутными и полуслышными фразами, что наверху, но говорил. И снова разумно, спокойно.

— Казни не помогают. Вообще жестокость не помогает. Законодатели списывали ее друг у друга, а толку от этого никогда никакого. Церковь тоже ничего не дала заклинаниями. Надо, значит, другими путями идти. Не подражать ни палачам, ни священникам. Растравить в душе человека последнее, что осталось в ней человеческого. Оно остается всегда. В любом. Будь он даже дьявольским чадом. Зная, что ему предстоит... тело к телу... как сиамскому близнецу, неразлучно...Человек никогда уже не решится на человека руку поднять... «Будьте наши духом» — как сказано. Не нужно к ста тысячам юридических книг еще сто тысяча первую. Нужно попросту первую, написанную тем, кто нищ духом...

Я потягивал из грубой фаянсовой чашечки кофе и безответно гадал. Мыслитель этот человек или выдумщик? Сумасшедший или сугубо здоровый...

В горах,когда у него были широко открытые глаза, хриплый голос, тогда... Но сейчас — ни по лицу, ни из слов совершенно не чувствовалось... Я вперился, рассматривал. Лицо вообще самое рядовое, простое. Широкое, бритое, непримечательное лицо крестьянина или пекаря. Будь на этом человеке сутана, все равно чувствовалось бы, что это не городской священник, а селянин. Да и вообще такие круглые лица обычно лишены выразительности, а поблекшая кожа придает им совсем тусклый вид. И если бы не глаза на этом лице!.. Глаза не подходили ко всему остальному — в них интеллект? Нет, не только. Это глаза безобманные и знающие что-то свое. И манеры у старика тоже не деревенские... Нет, я не так это определяю себе... Ведь и крестьянин держится скромно, спокойно... Но у крестьянина не увидишь такой мягкий поворот головы... Удивительный поворот головы — добрый, мудрый, полный достоинства.

— Книг нагромождены человечеством горы,— продолжал старик, тоже отпив глоток кофе,— но они не привели к переменам. И если я решился писать, то значит, чувствовал уверенность, долг. Писал несколько лет. Отнес рукопись самому вдумчивому из здешних издателей. Когда пришел к нему за ответом, он не знал, что сказать. Осматривал меня снизу вверх, сверху вниз, искоса, опять снизу вверх. Стал листать рукопись, пожимать плечами, улыбаться, кривиться. «Поймите,— говорит,— это беспримерно, неслыханно. Я не вдаюсь в существо, но... нет, невозможно это выпустить в свет»... Повторяю, это был самый вдумчивый. И я понимал, что незачем ходить к остальным. Отправил ее кардиналу. Тот уничтожил. Слышал, будто он при этом сказал, что до такого кощунства даже еретики никогда не додумывались...

В окошко поднимался рассвет. Мне хотелось успеть поспать хотя бы два-три часа, чтобы не быть потом разбитым весь день. Но автобус уходил только в семь, и я набрался решимости утрудить старика...

Он не высказал неудовольствия.

— Но взгляните сначала на один документ,— попросил он, достав из шкафа бумажку. Это была справка психиатрической лечебницы о том, что он находился в ней на исследовании, признан здоровым и не представляет опасности для окружающих...

— Это было делом рук канцелярии кардинала,— сказал он.— Увезли меня под обманным предлогом, продержали три месяца... Результатом моего пребывания там явилось разрешение ординатора Б. ссылаться на его солидарность со мной. Он считает возможным проведение опытов. — Я молчал, чтобы разговор не затягивался и старик поспешил бы. Но он и в машине не оставлял своего.

— Говорят, что это кощунство над телом убитого христианина, которое должно сразу предаваться земле,— заговорил он, когда мы выезжали на шоссе мимо кладбища.— Но разве я отнимаю эту деревянную вечность? — показал он на кресты.

Я не ответил, и он привел еще довод.

— Говорят, что это кощунство и над убийцей. Но разве заточать его не кощунство? Жизни лишать — не кощунственно?.. А здесь — очищение, здесь адова школа прозрения...

Потому ли, что тема стала тягостной, или оттого, что рассвет был серо-туманным, но дорога, которой я накануне так любовался, не казалась мне теперь живописной. Ни затейливые коттеджи, ни каменные олени, ни созревшие яблоки у ранта шоссе глаз не радовали. Хотелось как можно скорее в постель, как можно скорее проститься с моим собеседником... Гостеприимным, мягким, интересным, загадочным, но ставшим почему-то мешком на плече...

А он, доставив меня до крыльца, не дал сразу проститься.

— Минуточку,— сказал он, и в руках его появился аккуратно перевязанный сверток.— Злоупотреблю еще на момент.

Глаза его снова заблестели, расширились, как тогда, вечером в горах, голос опять сделался хриплым и страстным, речь беспорядочной:

— Я же к вам с просьбой. С большущей просьбой. Убить книгу — то же, что убить человека. А убить эту книгу — убить бесконечное множество. Помогите их спасти, помогите. Трудно создать экспериментальные страны, но можно выделить, допустим, провинцию. Не надо передавать другим поколениям. Развязка в ваших руках. Если наши правители боятся таких книг, таких мыслей, то не должны вообще править... Там, где человека, который понял, дошел, сажают в психиатрическую, вместо того чтобы сделать его советчиком власти,— там плохо с властью. О, я не стремлюсь! Мне ни к чему. Я не сегодня завтра исчезну... Но мысль эта исчезнуть не смеет, не смеет!.. Верьте: никто уже не поднимет руки на другого, никто! Я бы хотел перенестись в Древний Рим. В сатурналии, когда каждый мог говорить, что хотел... Создайте у себя сатурналию. Прошу вас — создайте... Вот вам оригинал. Не все, быть может, разборчиво. Возьмите на себя этот труд. Возьмите, Он стоит того. Это судьба, что я встретил человека из вашей страны. Это судьба...

— Что вы,— отшатнулся я,— что вы!.. Нет, нет, по дороге таможенники... это никак невозможно!.. Я благодарен вам за прогулку, за интересно проведенное время, но этого... этого я взять на себя не могу...

Мой тон был решительным. Старик сразу сник. Я протянул ему руку.

— Еще раз спасибо. Такого интересного, не знаю, как выразиться, спутника или гида, у меня еще не бывало.

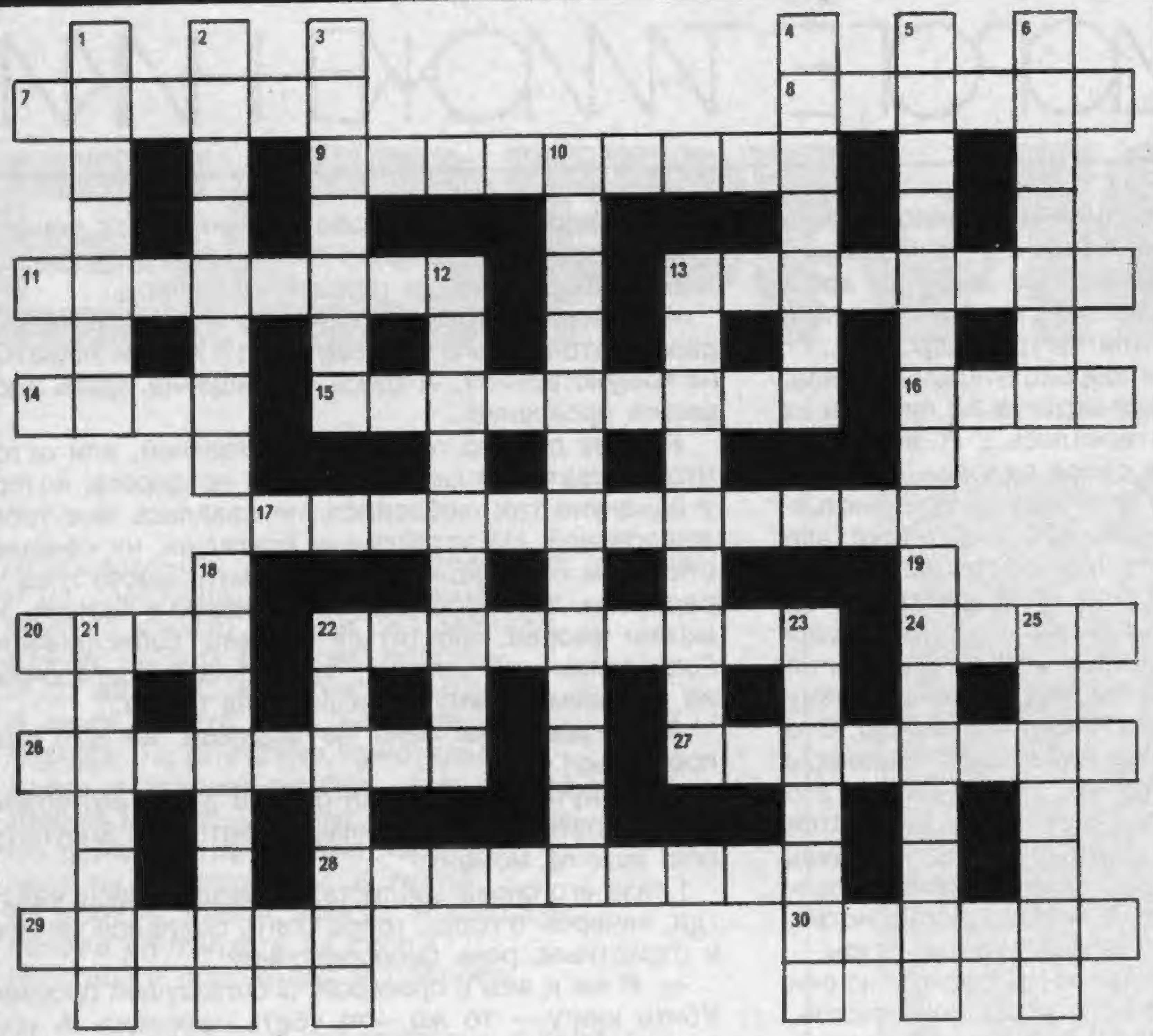
— И вам спасибо,— печально ответил он.— У меня тоже давно не бывало, чтобы кто-нибудь согласился меня выслушать...

В кровати я согрелся не сразу. Бил легкий озноб. И хотя в комнате было бесшумно, положил подушку на голову, чтобы скорее заснуть...

Публикация М. И. КАНЕВСКОЙ



КРОССВОРД



По горизонтали: 7. Испанский танец. 8. Руководитель вуза. 9. Дикая птица отряда куриных. 11. Подземная выработка. 13. Сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения. 14. Река, впадающая в Камское водохранилище. 15. Город в Донецкой области. 16. Официальный дипломатический документ. 17. Украинский актер, народный артист СССР. 20. Оценка успеваемости и поведения учащихся. 22. Действующее лицо в опере Ш. Гуно «Фауст». 24. Картина Б. М. Кустодиева. 26. Древний знак египетского письма. 27. Правильный многогранник. 28. Представительница основного населения западноевропейского государства. 29. Архитектурно оформленный вход в здание. 30. Комиссар в драме К. А. Тренева «Любовь Яровая».

По вертикали: 1. Романс А. А. Алябьева. 2. Жанр журналистики. 3. Маршал Советского Союза. 4. Наградной документ. 5. Ранцевый аппарат для дыхания человека под водой. 6. Породообразующий минерал. 10. Учитель, педагог. 12. Телескоп для фотографирования Солнца. 13. Пилот безмоторного летательного аппарата. 18. Конечный набор правил, позволяющих механически решать конкретную задачу. 19. Столица народной республики в Европе. 21. Рассказ М. Горького. 22. Остров у северных берегов Австралии. 23. Перерыв между действиями спектакля. 25. Минерал, поделочный камень.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 3

По горизонтали: 3. Кюхельбекер. 5. Экзамен. 6. Фуганок. 9. Сфинкс. 10. Створ. 11. Кишлак. 15. Аудитория. 16. «Тамара». 18. Гранат. 19. Ворошиловград. 22. Корнет. 23. Максим. 24. Велосипед. 27. Челнок. 28. Флинт. 30. Глебов. 31. Джейран. 32. Орулган. 33. Акселератор.

По вертикали: 1. Реверс. 2. Бенуар. 3. «Казаки». 4. Ранжир. 5. Эпиграф. 7. Кальман. 8. Светославский. 9. Серафимович. 12. Кибальников. 13. Кустодиев. 14. Филогенез. 17. Апорт. 18. Грамм. 20. Энцелад. 21. Скрябин. 25. Монета. 26. Флюгер. 28. Фланец. 29. Турман.

НЕТ ПРОБЛЕМ?



Рисунок Василия ЧАУСОВА
Ростов-на-Дону

Марат ЦЕБОЕВ,
фото Анатолия БОЧИНИНА



«Бураны» известны сегодня во многих районах страны. Они доставляют зимой в отдаленные хутора или деревни врачей, медикаменты, срочную почту. «Бураны» работают в Антарктиде, на дрейфующих станциях Северного полюса, у гляциологов Памира и горноспасателей Кавказа.

Финишировал заезд. Спрашиваю гонщика:

— Что в соревнованиях главное?

Гонщик снял защитные очки, и мне улыбнулась симпатичная девушка. Наташа Владимирова из команды «ДОСААФ» города Химки Московской области:

— Удивлены, что и девушки участвуют? А нас, между прочим, в команде трое. Еще Майя Смирнова и Маша Карпухина. А главное в гонке, я считаю, состояние техники. Остальное определяют уже индивидуальные качества спортсмена. Ну и тренированность, конечно. Трасса неровная — бугры, кочки, крутые повороты, снегоход то идет юзом, то буксует. Надо знать не только теорию, но иметь и практические навыки.

За ходом соревнований с интересом наблюдал заместитель главного конструктора андроповского производственного объединения «Моторостроение» кандидат технических наук Герман Павлович Дерунов.

— Снегоходы,— сказал он,— приобретают сегодня широкую известность. Прежде всего в досуге молодежи. Появился и новый вид спорта. Потребность в «Буранах» велика. Будем наращивать их выпуск.





Тишину морозного утра в окрестностях города Андропова нарушили выстрелы. Начались Всесоюзные соревнования по снегоходному спорту на приз журнала «За рулем».

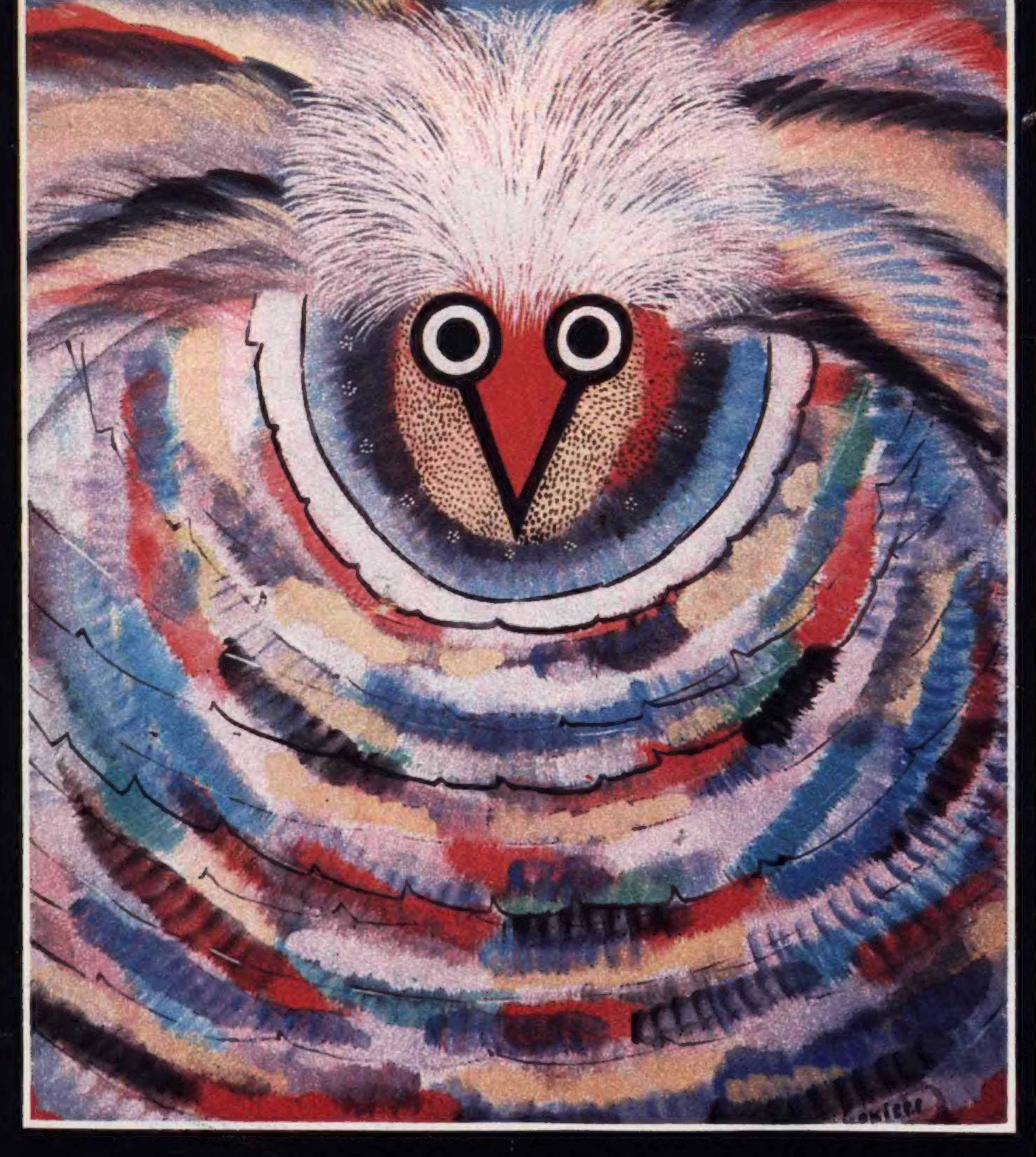
ДНЕВНИК
РЕПОРТЕРА



С БЕЛЫМ ШЛЕЙФОМ СКОРОСТИ

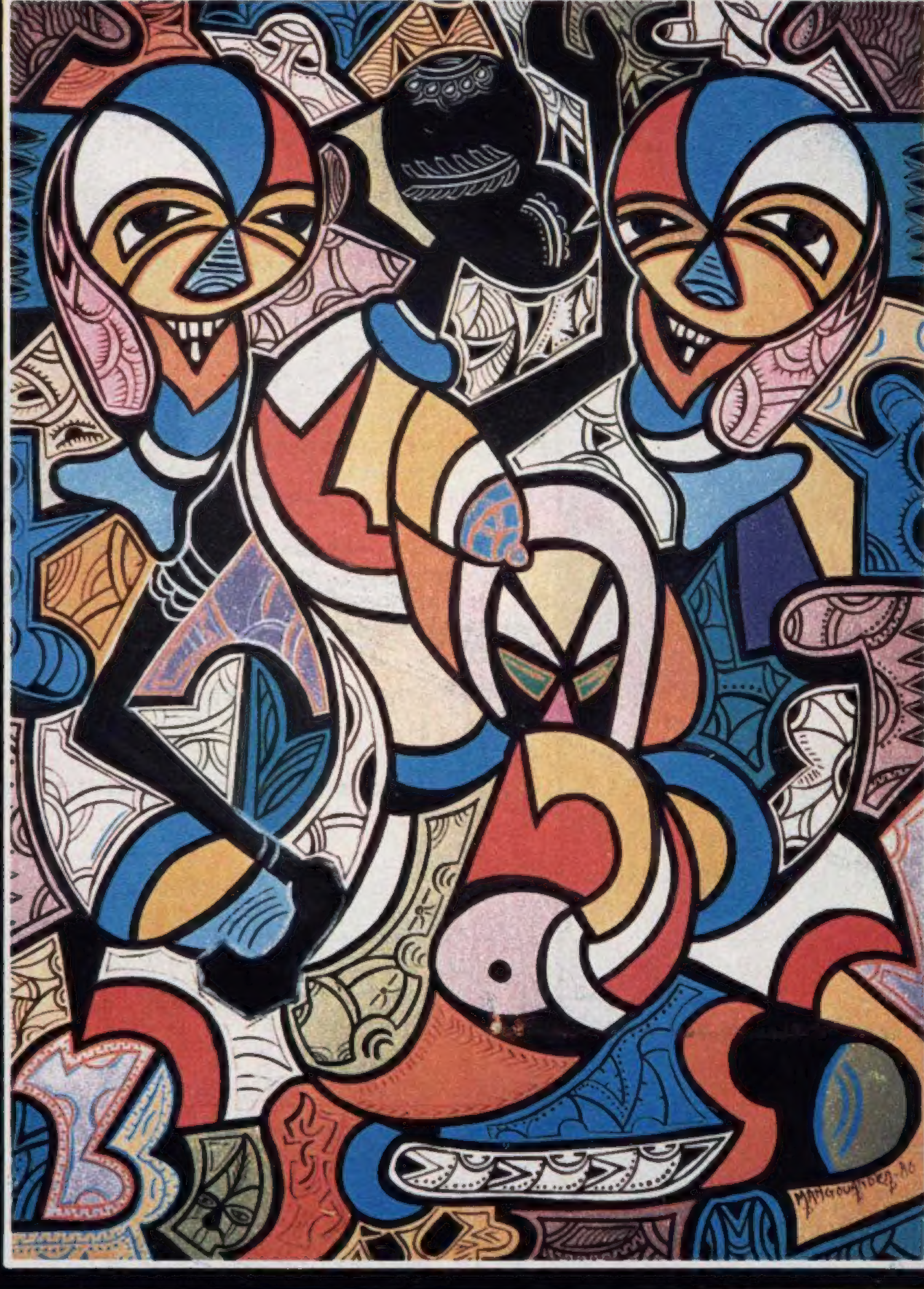






КРАСКИ АФРИКИ

ISSN 0131 — 0097
Цена номера 40 коп.
Индекс 70663



САМОБЫТНА И СВОЕОБРАЗНА АФРИКАНСКАЯ ЖИВОПИСЬ. ЕЕ НЕ СПУТАЕШЬ НИ С КАКОЙ ДРУГОЙ. ВОТ, НАПРИМЕР, ТРАДИЦИОННЫЙ ЭФИОПСКИЙ РИСУНОК НА КОЖЕ, ВЫПОЛНЕННЫЙ В МЯГКИХ, ПАСТЕЛЬНЫХ ТОНАХ. ПРИМЕЧАТЕЛЬНА ЯРКАЯ ЖИВОПИСЬ КОНГОЛЕЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ ЗНАМЕНИТОЙ ШКОЛЫ ПОТО-ПОТО. В КАРТИНАХ — СПЛАВ ДРЕВНИХ ТРАДИЦИЙ АФРИКАНСКИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ И СОВРЕМЕННЫХ РИТМОВ ЖИЗНИ. ВО МНОГОМ ОНИ РАССЧИТАНЫ НА ВКУС ЕВРОПЕЙЦЕВ, СИЛЬНО СТИЛИЗОВАНЫ, НО ТАЛАНТЛИВЫ, ПЕРЕДАЮТ ЖИЗНЕЛЮБИЕ И ПЛАСТИКУ АФРИКАНЦЕВ.

